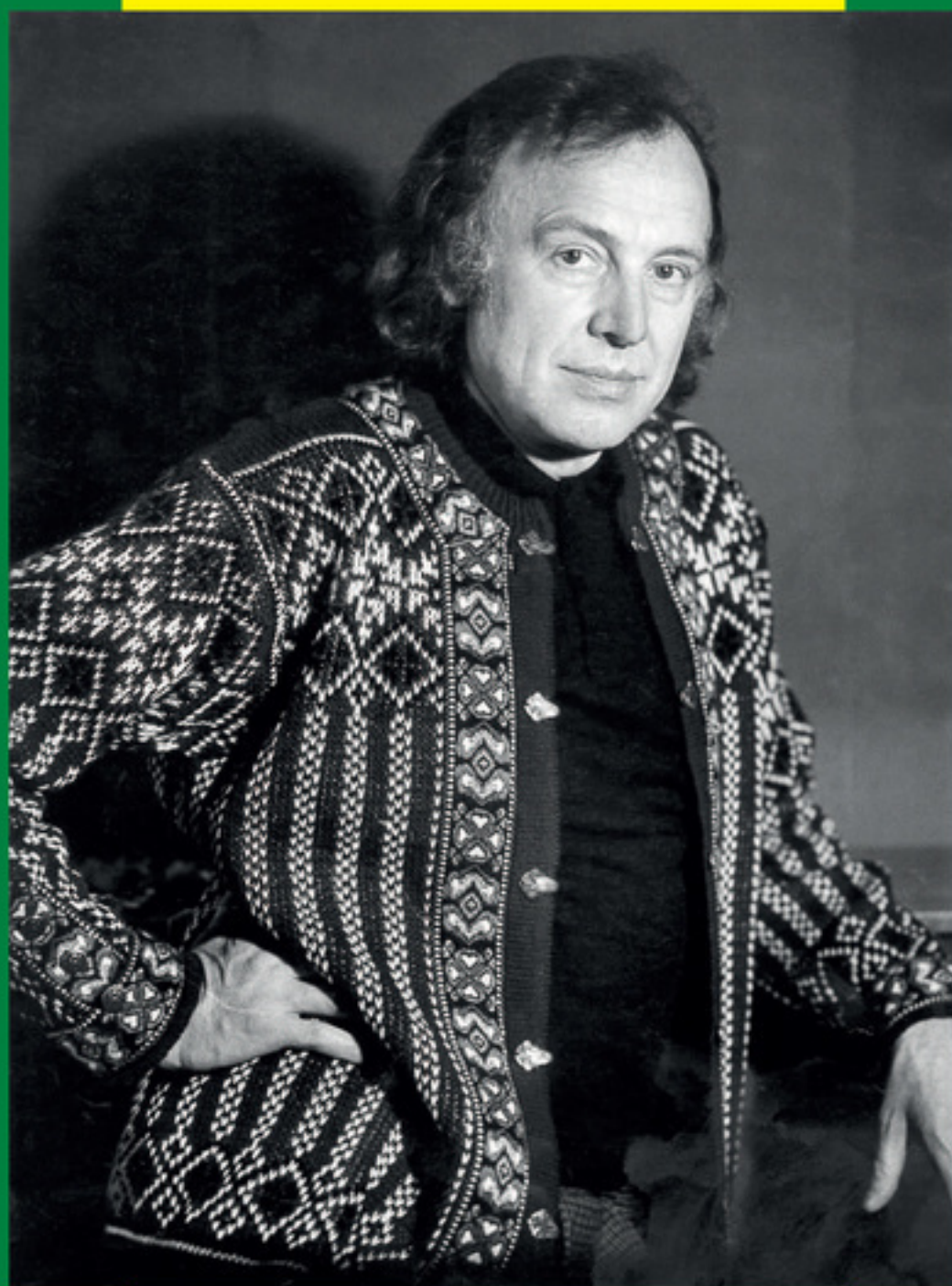


Анатолий Ким

ГЕНИЙ

Повесть о Смоктуновском



Анатолий Ким

Гений. Повесть о Смоктуновском

Издательство "Валентин"

2015

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Ким А. А.

Гений. Повесть о Смоктуновском / А. А. Ким — Издательство
"Валентин", 2015

ISBN 978-5-906288-19-6

Повесть выдающегося писателя XX-XXI вв. Анатолия Кима о гениальном актере Иннокентии Смоктуновском, история их знакомства и дружбы на протяжении 20 лет. «Я с грустью вспоминаю, как Смоктуновский то ли в шутку, то ли всерьёз говорил: «Я гений». Мне грустно от того, что всякая гениальность в нашем земном человеческом мире, – в том числе и его, и моя собственная – выглядит столь жалко, грустно, убийственно беспомощно. Но я с удовольствием и в большом веселье души вспоминаю о наших встречах – пока он был жив, пока я был жив, и пока я ещё жив – и все самые маленькие черточки и детали в картинах воспоминаний о моем крёстном представляют для меня ценность неизмеримую, сладость неизъяснимую».

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-906288-19-6

© Ким А. А., 2015
© Издательство "Валентин", 2015

Анатолий Ким

Гений. Повесть о Смоктуновском

© А.А. Ким, 2015

© Издательство «Валентин», 2015

* * *

Посвящаю повесть о гении своему брату Валентину Петровичу Паку, выдающемуся меценату, благотворителю, гуманисту

Эти двадцать лет от вечности, что пришлось мне пройти по жизни рядом с ним, я не хочу ни осмысливать умным словом, ни оживлять умиленным чувством. А хочу видеть пройденное, вот как вижу сейчас, и слышать, как слышу всегда, сколько бы ни прошло времени.

Я поднимаюсь по бетонным ступеням безрадостной «хрущёвки», пятиэтажки без лифта, к себе на четвертый этаж. Мне тридцать три года и три месяца. Ровно десять лет назад я вернулся из Советской армии, где прослужил в конвойных войсках три года, и начал свой литературный путь. Он пока безрезультатно привел меня на площадку четвертого этажа – и вот я поднимаю свои невеселые глаза и вижу перед собой не то Гамлета, не то Деточкина. Нет, скорее Гамлета, который стоял, потупившись, и смотрел себе под ноги. Он думал: быть или не быть ему на этом свете человеком, которому так нелегко живется? А ведь предстоит ещё умереть, и далее – тишина.

Итак, я поднял голову с невеселыми своими мыслями, и он поднял свою голову с гамлетовским вопросом в глазах. Глаза наши, значит, встретились. Как хорошо, мгновенно вспыхнули его светлые очи в ответ на узнавание – не артиста Иннокентия Смоктуновского, уже на весь свет прославленного к тому времени, но просто человека, у которого скребет на сердце от извечного беспокойства: как это я оказался в этом странном темном углу мирового пространства?..

Впоследствии, когда мы уже много лет были в дружественных отношениях, я помогал ему подготавливать к печати его автобиографический рассказ «Три ступеньки вниз», и там был один фрагмент... Речь шла о его первом убежище в Москве, куда Смоктуновский, провинциальный актер за тридцать, прибыл устраиваться в какой-нибудь столичный театр. «Место это было выбрано мною из нескольких... (Речь шла о семиэтажном доме на самом выходе Остоженки к Кропоткинской площади. – А.К.) От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону... так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлежать на подоконнике замурованного окна у громяющего, астматически шумящего лифта... Я здоров душой и телом... И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник, у самого чердака шестиэтажного здания был простым, нормальным подоконником. Иначе чем можно объяснить хотя бы то, что человек на подоконнике, заложив руку за голову, одиноко вытянуто лежит, вроде спокойно глядя в потолок... Но вдруг ошалело вскакивает и громко начинает выкрикивать обличительные монологи...» И там, в первую нашу встречу на полутемной площадке пятиэтажки без лифта, я увидел лицо человека, готового начать выкрикивать отчаянные обличительные монологи. О, как много можно прочесть на лице человека, одиноко стоящего где-нибудь в темном углу, когда тот уверен, что его никто не видит.

Я бросаюсь к нему почти в священном ужасе, ибо на всем колоссальном пространстве Советского Союза он был единственный Художник, который делал не то, что повеле-

вала делать несокрушимая воля социалистического реализма, но сотворял образы несчастных людей, дорогих для всего человечества – Гамлета, Чайковского, Деточкина...

Я спрашиваю:

– Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?

– Я к матери... Она куда-то вышла, наверное.

– Так пойдемте ко мне, у меня и подождете.

– Спасибо!

И вот он у меня, в крошечной квартирке из двух смежных комнат. В окно светит вечернее солнце. Осенний месяц, далекая синева. Он сидит на стуле, ссутулившись, молчит. И я сижу напротив, на другом стуле, и тоже молчу. Этих стульев у меня всего два, они немецкие, из ГДР, самые дорогие предметы моей скромной мебелировки. Он молча озирает жилище, но смотреть особенно не на что. Кроме стола, за которым мы сидим, в комнате еще стоит детская кроватка с деревянными точеными перильцами. Все в стиле не осознающей себя нищеты того же упомянутого ретро социалистического реализма. Так и не осознавая своей вопиющей бедности, я сижу молча минут пятнадцать, в сильнейшем волнении от предчувствия чего-то великого, неопишуемого, громадного, ослепительного. С лестничной площадки раздалась за входной дверью звуки громкого разговора, голос женский и потом мужской, хлопнула дверь, мой гость встрепенулся и встал.

– Кажется, мои пришли, – молвил он и покинул меня, коротко кивнув на прощанье.

Я остался в смятении сильного волнения и недовольства собой: случилось чудо, в мой дом вошел тот единственный, который своими работами пробудил надежду, что творчество и у нас в стране может быть свободным. Случилось чудо, ко мне приходил сам Бог, может быть, а я не узнал Его и молча просидел, как болван, на своем зеленом немецком стуле.

Но минут через двадцать он вернулся, и я едва узнал его – Смоктуновский явился в домашних тапочках, ярко-красной рубашке, в руках держал картонную коробку из-под обуви, перехваченную посередине бумажной веревочкой. Никакого даже намека на трагического Гамлета. Он развязал эту веревочку, одним точным движением дернув ее за кончик узелка бантиком. В коробке из тонкого рыхлого картона лежали рядом уложенные мелкие золотистые рыбки, копченая мойва. Разнесся по моей бедной комнате восхитительный запах горячего рыбного копчения. Запах божественный, опять-таки.

Смоктуновский, хищно растопырив длинные пальцы своей поросшей рыжим волосом руки, запустил ее в стройные фаланги уложенной золотистой рыбы, казалось, желая разом захватить и вытащить из коробки всю небольшую армию копченой мойвы. Но как-то неуловимо быстро и незаметно сумел сократить роковой распах своих худых пальцев, и выхватить из коробки приличную горсть рыбы, однако не всю партию балтийского деликатеса. Взятый в захват ворох мойвы был щедрым жестом сброшен посреди стола и лег золотистой горкой, в которой рыбы было, показалось мне, намного больше, чем изначально во всей коробке. И впоследствии, читая, как Иисус накормил тысячную толпу паломников четырьмя рыбинами, я ничуть этому не удивлялся, ибо подобное чудо видел у себя дома.

– Это вам, угощайтесь. А это я отнесу родителям. – С этим Смоктуновский накрыл коробку картонной крышкой и ушел к своей любимой теще.

Шира Григорьевна Горшман, моя соседка, новеллистка, писавшая на идиш – языке, в котором звучало и что-то немецкое, и что-то русское, одесское, и несомненно еврейское – интонационно скорбно-задорное, иногда переходящее в конце фразы в унылый шепот. Вот Шира читает, нацепив на свой красивый мясистый нос очки отнюдь не модняцкие, напоминающие какие-то былые чеховские времена. Читает свой рассказ сначала на идиш, затем в русском переводе, желая донести до моего слуха те музыкальные ценности, которые были заложены на языке оригинала. Но эти сокровенные ценности, – знает любой писатель, – увы, невозможно передать в переводе на другой язык. Однако Шира, натурально читая мне на идиш, хотела

вдолбить в моё корейско-русское ухо напевное звучание скорбной еврейской души, которое не могло быть сполна передано в русском переводе...

Я также читал ей свои рассказы, и надо сказать, что в ту пору, когда совершенно не был уверен в том, что хоть что-нибудь получается, эти чтения для меня очень многое значили. Шира Горшман, член Союза писателей, к тому времени имевшая уже две книжки новелл, выслушивала мои рассказы с таким добрым вниманием, столь глубоко вникала в их драматическую корейскую сахалинскую скорбь (первые прозаические мои опусы были о сахалинских корейцах), сопереживала моим героям и внимала их печальным историям с таким печальным взглядом своих синих глаз, словно дело шло о ее местечковых евреях и об их невеселых делах. Так уж совпало, что мы о своих соплеменниках писали невероятно грустные истории, – и тем напоминали, наверное, двух бедолаг, которые развлекаются тем, что рассказывают друг другу, на перемену, одну историю печальнее другой. Должно быть, некоторых людей тянет больше на грустное, нежели на веселое. Но нам было взаимно интересно, и мы смогли дать друг другу подлинное творческое утешение – смиренная еврейская писательница, пишущая на идиш, и начинающий корейский писатель, пишущий на русском.

Несколько дней спустя Смоктуновский снова зашел ко мне. Был он в домашней одежде, в тапочках, – приехал из Ленинграда по каким-то делам и остановился у тещи. В то время он жил в северной столице, куда его пригласили работать в БДТ, и там он играл князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Идиот». Роль была настолько знаменитой, что посмотреть ее люди приезжали даже из Москвы... Я не видел Мышкина в исполнении Смоктуновского, но слышал много легенд, в которых буднично звучали слова «гениальный», «великий», «неповторимый», «недостижимый». И этот легендарный и великий и недостижимый запросто пришел ко мне, уселся на зеленый немецкий стул, и глядя мне в глаза, сказал как-то очень просто и необходимо:

– Я знаю, что вы пишете. И вас не печатают. Так вот, прошу вас, выберите два рассказа, которые на ваш взгляд могут быть напечатаны, и дайте мне.

Я ему ответил, что уже скоро десять лет, как хожу по редакциям, и меня никто не собирается печатать. Теперь уже совершенно ясно, что печатать не будут. Десять лет дебюта – это немало.

– Да, немало, – согласился он. – У вас великое терпение, вы молодчина.

– Но терпение уже кончилось, – признался я. – Уже больше не хочу ни терпеть, ни писать.

– И что же будете делать? – спросил он, все так же в упор глядя мне в глаза.

– Пойду, выучусь на водителя троллейбусов, – ответил я. – Мне очень нравится эта работа.

Я не стал ему рассказывать, что совсем недавно, в слякотную погоду, после внезапного осеннего снегопада, как это порой бывает в Москве, я шел по краю тротуара, только что выйдя из редакции толстого журнала, в котором мне снова отказали. Редактриса, дама, так сказать, со следами былой красоты на лице, но уже начинающая седесть, мелко-курчавая, как мерлушковый барашек, стала говорить, не глядя на меня, о том, почему мои рассказы не подошли журналу. С большим волнением выслушав ее, я вдруг ужаснулся внезапной догадке: да ведь дамочка совсем не читала моих рассказов!

Она несла какую-то полную ахинею, не имеющую ничего общего с их содержанием. Может быть, она перепутала их с чьими-то другими рассказами, другого автора? (Много лет спустя, когда я уже стал, как говорится, велик и славен, эта дама, работавшая в книжном издательстве, попросила у меня рассказы для коллективного сборника московских писателей. Я взял да и отнес ей те рассказы, которые она забраковала для журнала. Вы бы послушали, как восхваляла она их на этот раз, вот умора! Но я не стал злорадствовать и веселиться по этому поводу: передо мной сидела уже совершенно седая белая овечка, чьи мерлушковые кудри сильно поределели, являя постороннему взору беспомощно розовую младенческую кожу.

К тому времени я уже был крещен, и мне нравилось христианское правило: возлюби обижающих тебя...)

Близко проехал мимо, обгоняя меня, синий троллейбус, из-под колес его вылетела тяжелая лепеха жидкого снега и шлепнулась мне на ногу. Как-то очень быстро, мгновенно, ногу промочило. По своей беспечности я не имел надежной сезонной обуви и поздней осенью бегал в летних туфлях, которые в пору моей молодости назывались «полуботинками». Я отошел от края тротуара и, вывернув ногу, осмотрел туфлю: сбоку над самой подошвой оказалась просечка, продолговатый разрыв в истлевшей коже обуви, которую я носил бессменно. Туда, в эту рваную скважину, и натекла холодная снежная водица. Мне было уже тридцать три года, и я навсегда запомнил эту несчастную дырочку в полуботинке, вопиющий знак моей неблагоприятной жизни. Десять лет бегать по редакциям и не удостоиться быть напечатанным ни разу – это круто. Я и сказал Смоктуновскому об этом, вдруг припомнив в ту минуту дырочку в башмаке. Но разумеется, таким ничтожным фактом я не стал загружать внимание моего чудесного гостя. Ничего не сказал и о том, что, когда обрызгавший меня снежной жижей троллейбус медленно продвигался мимо, обгоняя меня, у меня возникло мгновенное желание кинуться под его задние колеса – передние уже прошлепали мимо. Однако я, к великому счастью для человечества, на мгновение замешкался и пропустил нужный для демона отчаяния момент – троллейбус ушел вперед, вильнув на прощанье забрызганным грязью толстым задом.

А вот еще один фрагмент из того же рассказа Смоктуновского. «После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения, – хорошо помню – не было, только усталость... К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах... Эти похождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь понимаю, просто напрасными – бесплодными... Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького... мимоходом проямлил: «У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришлых всевозможных...» Если тебе дают адрес и мило говорят, что де, мол, будешь в Москве – заходи, это совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет... И вот, размышляя, я с неотвратимой ясностью вдруг увидел, что за все это долгое время не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет».

Что ж, все очень похоже, Москва, как говорится, бьет с носка. Похоже, но разница только в том, что завоевание своего места в Москве у него шло отчаянных несколько месяцев, а мой собственный дебют затянулся на десять лет...

– Я вам ничего не обещаю, – сказал Смоктуновский. – Я просто попробую рассказы ваши где-нибудь показать. Если вы не возражаете.

– Не возражаю, но я уже десять лет бегаю по редакциям... – и т. д. и т. п., о чем уже было сказано.

А он сидел напротив меня и смотрел в мои глаза своими синими мерцающими глазами и улыбался всеми ямочками на своих молодых еще ланитах. Через два месяца с той же чудесной улыбкой он смотрел на меня, держа в руках первый номер журнала «Аврора» за 1973 год, и говорил:

– Ну, вот видите, как славно получилось! Рассказы-то ваши просто замечательные! Замечательные! Мне очень понравились. И откуда только у вас, узкоглазого азиата, такой удивительный русский слог!

– Но, Иннокентий Михайлович! Неужели вы не читали и отдали их в журнал? – несколько опешил я и даже слегка обиделся... Он сразу же быстро все понял, вскинулся и ответил как-то очень убедительно, обезоруживающе, по-смоктуновски, ясной скороговоркой:

– Только из-за суеверия! Не хотел сглазить. Но я, и не читая знал, что рассказы хороши. Мне Шира Григорьевна говорила...

Шира Григорьевна и ее муж Мендель Хаимович, писательница и художник, были явлены мне также не случайно, как и Смоктуновский. Хотя никакой нужды в том не было у этих старых евреев, чтобы в их жизни появился нищенствующий писатель, кореец по национальности, с чистопородной корейской семьей – жена-корейка и двое детей-корейчат. Для меня эта еврейская чета истинно была послана Богом, ибо через их дом вошел в мою судьбу Смоктуновский.

И через него пришло крещение: я принял христианство их рук Смоктуновского. Произошло это, когда мне исполнилось сорок лет. К тому времени я стал профессиональным писателем и уже мог жить и кормить семью одним только литературным трудом. У меня в глухой деревне Мещерской стороны, в Немятово, была куплена заброшенная изба, которую я поднял своими руками, починил провалившееся крыльцо, купил красного кирпича и вывел над крышей разваленную печную трубу, подвел фундамент под избяной сруб, вырубив нижние сгнившие венцы. Когда-то в семнадцать лет я приехал в Москву с Сахалина, не поступил в Художественное училище и год проработал на стройках Москвы пятидесятых в качестве лимитчика-разнорабочего. Там я научился кое-чему по строительному делу – и кирпич класть на раствор, и топором потюкивать по дереву, и с размаху забивать гвозди молотком.

В деревне эти навыки пригодились, и я сам начал приводить в порядок заброшенную избу. Помогал мне на первых порах один человек, вернее, это я ему помогал, а он вводил меня в дело. Через несколько дней Геннадий, как звали человека, уехал, а я довел ремонт до состояния, когда в доме можно было затопить печку и, стало быть, жить-поживать...

(В этой избушке предстояло быть написанным всему лучшему из моего раннего периода...) Спустя лет пять глубокой осенью в тусклой полумгле рано навалившегося вечера при желтом свете голой электрической лампочки произошло самое главное событие всей моей жизни. Я понимал, что о таком сокровенном, чудесном, нельзя поминать вслух, но почему-то рассказывал везде и всюду, не особенно разбираясь, достойны ли слушатели того сакрального, что явлено было мне сумеречным вечером в избушке на краю деревни Немятово.

Каждый раз об этом я рассказывал со страхом, ибо речь шла о Нем, и лгать перед Ним, или по ничтожеству душевному выдавать желаемое за действительное было бы святотатством. Но я снова и снова говорил об этом, каждый раз поверяя себя, внимательно вслушиваясь в свои слова – так ли все это происходило, на самом ли деле, и точно ли я воспроизвожу мистические реалии богоявления, которого удостоился. И каждый раз мне было страшно. И сейчас страшно.

Он был невидимый, но был рядом, Он был неслышимый, но я сразу же вздрогнул, услышав духовным слухом Его прекрасный голос. Я не видел Его глаз, но они смотрели на меня с такой светлой силой безмерной любви, с какой никто никогда не смотрел на меня. Темно-серый воздух избы, разжиженный желтым светом голой электрической лампочки, крапленой мушинными точками, словно стал раскаляться, пронизанный волнами вихревого электрического тока, и этот вихревой ток стал стекать по моим щекам обжигающими струйками. И прекрасный мужской голос, который не звучал, но ясно был слышен, говорил что-то сладкое моему сердцу, навсегда утешительное, убиравшее все тревоги моей души и ярко осветившее, словно солнце в полдень, весь предстоящий мой жизненный путь. И эти прекрасные невидимые глаза смотрели на меня с великой силой любви, сияли передо мной, а я стоял перед Ним, закрыв ладонями свои собственные.

Богоявление в избушке на краю деревни Немятово произошло тридцать пять лет назад, и я уже не помню, как завершился этот мистический для меня день, когда и как я укладывался спать в ту ночь. Но хорошо помню утро следующего дня, когда проснулся при ярком свете солнца, потоки которого прорвались через маленькие три оконца с уличной стороны избушки. Я лежал на суровом аскетическом одре расшатанной деревянной кровати, на которой когда-то спала старушка Верочка, прежняя хозяйка дома. Я весь был залит бушующими потоками света, слепящее солнце светило в глаза. И тут, не открывая их, я вспомнил о прошедшей чудесной

ночи, вспомнил голос Того, который ясно произнес, что мне надобно делать: «Тебе нужно креститься». После того, как вновь прозвучали ясным утром в памяти эти слова, я открыл глаза и увидел жизнь вокруг себя совершенно по-новому, в ярком многоцветии, в ином освещении. Как выглядел свет жизни дотеле, тридцать пять лет назад и раньше, я плохо помнил. Словно всё происходившее ранее было бесцветным, как чёрно-белое кино.

Итак, проснувшись после преображения с ясной мыслью, что надо мне креститься, я стал раздумывать, как это осуществить. Никогда до этого я не связывал себя ни с какой известной мне религией. Верующий человек был в моем представлении притворщиком, когда заявлял, что верует в Бога. В моем сознании, стало быть, и в душе моей истинно зияла пустота безбожия, наполненная призраками человеческих знаний, почерпнутых из тех немногих книг, которые мне удалось прочитать. И какие бы это ни были книги, какие известные мудрецы ни написали их, душа моя была пуста и ничтожна, а ум беден как церковная мышь. Но я был вполне доволен собой и даже всерьёз считал себя хорошим писателем, потому что с лёгкой руки Смоктуновского меня начали печатать в журналах и в книжных издательствах. Вчерашнее ночное Божоявление и сегодняшнее утреннее решение креститься пало на убогое поле моей безбожной жизни – словно огненный болид, внезапный гость из вселенной. В моей душе воистину произошло внезапное преображение. Проснувшись утром, я обнаружил себя новым человеком, и надо было его потихоньку вводить в реалии прежнего существования. Которое было настолько серым, убогим, бесчудесным, что надлежало немедленно что-то предпринимать, чтобы вино пришедшего нового духовного содержания не прорвало мехи старого приземлённого душевного бытования. Чтобы удерживать в пределах прежней житейской реальности чудесную ночную бабочку метаморфозы, наутро надо было немедленно что-то делать. Что-то конкретное и совершенно необходимое. И я решил, что мне должно напрямую исполнить то, что было велено Его голосом: «Тебе нужно креститься»... Это и надо было сделать немедленно и напрямую.

В умирающей деревне на зиму оставалось ещё несколько детей, шесть девочек от 8 до 12 лет. Я их называл про себя «последние шесть штук», имея в виду переключку с фразой в «Идиоте» Достоевского – «последний в роду князь». И вот я подумал, что дети крещены, невинны и безгрешны не менее любого священнослужителя, поэтому вполне могут быть моими крестителями. Я вспомнил любимую мою картину Иванова в Третьяковской галерее – «Явление Христа народу». В одном из крещаемых рабов я представлял себя. Тот преисполненный отчаянной надежды взгляд, брошенный снизу вверх рабом, сидящем на корточках спиной к Спасителю, был на сей день созвучен и понятен мне... Меня тоже мог утешить только Он.

Я решил, что дети будут для меня совместным Иоанном Крестителем. И когда они ровно в четыре часа дня пришли ко мне, я объявил им свое решение. Завтра мы пойдем на речку Куршу, они затолкают меня в воду, а потом я выйду, и они наденут на меня крестик, вот и всё...

Девочки приходили ко мне по установленному мною строгому расписанию. В самый первый раз, когда я осенью приехал в деревню работать, все они, ровно шесть штук: Марина, Лида, Лена, ещё одна Лида, которую для отличия звали Ли-дой, с ударением на «ой», также Танька и Женька, а может и не так (прошло более тридцати лет) – утром ввалились в мою избу, уселись на лавку против столика, за которым я работал, и самым откровенным образом усталились на меня. Тогда и сказал им непреклонным тоном, что я с утра работаю, и в гости можно приходиться после четырёх, когда заканчиваю работать. С того дня ровно в четыре на крыльце раздавался дружный топот множества ног, и в избу вваливалась вся ватага «последних на роду», все шесть штук. И начинался в избе шум и тарарам, пекли картошку в русской печи, на плите жарили блины, все это сообща поедалось вместе с солеными грибами, что девочки приносили из дома, а завершался обед горячим кофе с молоком, которым угощал высокое собрание я.

Но в тот день, когда они слышали мою просьбу о крещении, им настолько понравилось необычное предложение, что девочки не стали затевать обед, а быстренько разбежались по

домам. Возбужденные, они перестали обращать на меня внимание и уходили, громко обсуждая, где им достать крестик для обряда.

На другое утро, проснувшись, я был удивлен необычно ярким светом, что стоял в трех крошечных окошках моей избушки. Никакого солнечного светопода, как вчера утром, не обрушивалось в темную избу – за окнами висело серое пасмурное небо в лохматых тучах. И, тем не менее – этот яркий, до боли в глазах, свет с улицы! Я вскочил с кровати и, вздрагивая от холода, подбежал к окну, ожидая ещё какого-нибудь чуда. Но никакого чуда не было – на серый, тусклый осенний мир ночью пал первый и сразу обильный снег. Вся улица, крыши домов и сараев, изломанные штрихи обнаженных ветвей и корявые стволы деревьев были покрыты нетронутой белейшей порошей первого снега. Белый снег торжествовал во всем законном мире, и это от него снизу, а не от солнца сверху, исходило ровное мощное белое сияние.

Я понял, что мое крещение в Курше, словно в реке Иордан, не может состояться. И моих крестителей, прелестнейших «шесть штук» из деревни Немятово, ожидало большое разочарование. Да и мне было как-то грустновато, что намеченное священнодействие не состоялось. Хотя при мысли о том, что меня миновало купание в ледяной лесной речке, растекалось по сердцу чувство облегчения. Я готов был совершить подвиг во имя такого великого дела, как Крещение, но когда оно стало невозможным, – не лезть же было в реку, ломая прибрежный ледок, – я испытал облегчительное успокоение и грустное разочарование. Знать, не дано...

С этой затаённой грустью на сердце уже глубоким ноябрем я выбирался из деревни, испытывая смутное беспокойство оттого, что было мне такое чудесное явление – и так оно проплыло мимо меня в космической затаённости одной серой осенней ночи, словно звездный корабль, и снова исчезло в космической дали. И Тот, который приплывал на этом корабле, велел мне принять крещение, но этого не получилось.

Итак, я вернулся домой в Москву, уже к вечеру, искупался в горячей ванне и, с влажной еще головой, направился в кухню, откуда доносился запах домашней еды. Я был на дороге уже с утра раннего, случайным попутным трактором добрался из Немятово до соседнего села, центральной усадьбы совхоза, оттуда местным автобусом двадцать километров до городка Тума, где сел на рейсовый автобус, весь день был в пути и ничего не ел. Но моё неистовое устремление к обеденному столу было прервано телефонным звонком, аппарат находился в углу узкой прихожей. Пришлось повернуть назад и подойти к телефону.

– Это Смоктуновский, – прозвучал знакомый голос. – Здравсте, Толя.

– Здравсте, Иннокентий Михайлович!

Я был изрядно удивлён: мы не виделись всё лето и осень, считай, полгода. Звонок был неожиданным. Поэтому не смог сразу настроиться на должный радостный лад, как всегда, и довольно спокойно повел дальнейший разговор. Последовала небольшая пауза, затем:

– Толя, вы не хотите креститься?

– Хочу! – Это без всякой паузы.

– Вот и славно! – Тоже без промедления.

– А когда?

– Завтра. Приезжайте ко мне в десять часов. Я тут решил крестить Филиппа, и почему-то подумал о вас.

Вот и всё.

Назавтра прихожу к нему на Суворовский бульвар, он сидит за низеньким столиком, в просторной обвисшей футболке, с голой жилистой шеей, с беспорядочно ниспадающими кудрями, на носу круглые старушечьи очёчки. И целясь сквозь них, озабоченно оттопыривая нижнюю губу, Смоктуновский пытается попасть кончиком шнурка в ушко светлого оловянного крестика. Кончик белой верёвочки был разлохмачен и никак не хотел попадать в узкое отверстие, пока Смоктуновский не сделал то единственное, что надо было сделать. Он с уморитель-

ной озабоченностью посмотрел на меня поверх очков, затем поплевал на пальцы и скрутил рыхлый хвостик шнурка в остроконечную пику. Этой пикой он с торжествующим видом и проник сквозь скважину крестика, словно прогнал верблюда сквозь игольное ушко, и затем связал мертвым узлом концы верёвочки.

– Это для вас, – сказал он. – Для Филиппа я уже давно приготовил, а вот вам не успел купить. Отдаю свой детский крестик, не будете возражать? Были эти слова сказаны или другие, я не могу ручаться за давность лет и по причине того, что меня в ту минуту стали душиТЬ слёзы. В глазах всё расплылось, и я молча отошел куда-то в сторону. Какая-то острая высокая боль пронзила мне сердце, и я навеки преисполнился – с того мгновения – великой благодарности к нему. Я видел, что это действительно мой крестный отец, он трогательно заботится обо мне, потому что любит меня. Он стал также самым любимым для меня человеком на земле. Мой крестный. Да и я, кажется для него единственный крестный сын: кроме Филиппа, его родного сына, и меня он вряд ли еще кого-нибудь крестил. По крайней мере, никогда не говорил об этом. И я полагаю, что он надел на меня крест, оберегавший его на войне.

После крещения священник пригласил Смоктуновского отметить крестины детей у него, и мы поехали по темным улицам Москвы домой к отцу Владимиру. Там Смоктуновский обратил внимание на висевшие в рамках фотографии, на которых Владимир Рожков, наш креститель, снялся рядом с папой Римским и ещё какими-то католическими прелатами. Иннокентий Михайлович заинтересовался фотографиями и стал расспрашивать, и мы узнали, что наш креститель подвизался при Патриархии в иностранном отделе, был с какой-то миссией в Ватикане. И тут последовал вопрос Смоктуновского:

– Батюшка, как же так? Христос-то у нас один, а вероисповеданий сколько! И все считают, что истинная вера именно у них. Даже воевали из-за этого! Почему так, отец Владимир?

На что священник ответил не сразу, построжел лицом, перестал улыбаться приветливо и хлебосольно знаменитому на весь мир гостю. Потом молвил:

– Я вижу, что в вопросах веры вы не очень просвещены, Иннокентий Михайлович. Вот и детей привели крестить совсем не готовыми. Надлежащих молитв к этому не выучили, символ веры не прочитали, в книжечки не заглядывали...

– Батюшка, а надо ли? Главное – верить. Я видел, какое было лицо у Анатолия во время обряда... Он поверил. Батюшка, вера нужна, прежде всего, а книжки можно почитать и молитвы выучить...

Отец Владимир подумал, перекрестился и сказал:

– Воистину Бог знает, кого привести ко кресту. Раз Господь призвал вас, значит, так и надо было. – И затем добавил: – Вы, Иннокентий Михайлович, веруете как какая-нибудь тёмная деревенская бабка. Но не обижайтесь на мои слова! Я много знал верующих, из них самые истинно верующие – это как раз эти темные деревенские бабки. Вера их прочная, самая чистая...

О своей вере, собственно, Иннокентий Михайлович никогда особенно не распространялся, и об его религиозных чувствах, что как у темных деревенских бабок, можно было только догадываться по некоторым из его рассказов.

В детстве подростком он жил в деревне у своей тетки, сестры своей матери. Как звали тетку, память моя не сохранила. Эта тетка его приютила и молиться научила.

– Зимой корова отелилась, и телёнка поставили в теплую избу. Я должен был следить за ним – как только теленок согнет спину и поднимет хвост, я должен был тут же подскочить и подставить оловянную миску. Сначала всё было хорошо, я подставлял миску вовремя, но потом начал читать Достоевского, «Преступление и наказание», кажется, стал зевать, и бывали промашки. Меня у тетки здорово наказывали. Однажды я пропустил все и только увидел, как дядька с палкой в руке подступает ко мне. Тут я мигом бросился на колени перед иконой и стал креститься. Знаете, меня не тронули!

Другой рассказ был о том, как на войне молитва спасла ему жизнь. Рассказ этот я услышал в машине, когда мы вдвоем с ним ехали в Суздаль. Дело было зимой, Смоктуновский вдруг освободился от всех работ и решил на неделю сбежать в Суздаль, а меня пригласил с собой за компанию. Я очень обрадовался, – ещё бы! – да мне и самому в семейной хрущёвке с двумя детьми, с собакой Орланом, с котом Васей куда как было невмоготу. А тут – на целую неделю удрать от всего этого в тишину сказочного зимнего Суздаля, где мне раньше приходилось бывать... И в уединении со своими обожаемым крёстным!

Мы выехали из Москвы и вначале оказались не на том шоссе, которое было нужно. Смоктуновский вел машину не очень уверенно, как-то сильно сгорбившись, глядя исподлобья вперед. Прочитал вслух на дорожном указателе: «Люберцы», – и задумался, но продолжал ехать дальше. Думал он довольно долго, приговаривая при этом: «Люберцы... Люберцы...» Потом переменял ударение: «Любе-е-рцы» – и после чего добавил: – «Люберцы-ы! Едем не так, Толя. Надо поворачивать назад».

И он повернул назад, и не так уж скоро, но через какое-то время в зимние серые попутники мы были на нужной нам дороге. Недавно прошла сильная оттепель, да ещё дождь со снегом, потом резко подморозило, и трасса шоссе была сплошной серый каток. Иннокентий Михайлович сказал по этому поводу:

– На такой дороге, знаете, надо очень осторожно тормозить... Чуть что не так, машину тут же закрутит и ничего с нею нельзя будет поделать. Потеряет управление...

Только он это вымолвил, как нашу «Волгу» словно подняло в воздух, она стала будто невесомой и плавно закрутилась в сомнамбулическом вальсе посреди шоссе. Сделав полный оборот, машина встала наискосок к направлению, по которому мы ехали. Мотор был выключен, мы были на встречной полосе, лицом к тем машинам, которые мчались по ней. Так как «Волга» стояла чуть косо, моя пассажирская сторона на переднем сидении была открыта для прямого удара. Его готовился нанести автобус, стремительно приближавшийся к нам – лоб в лоб. Я хорошо различил лицо водителя, оно было искажено гримасой ужаса и белым как бумага. Удивительное, невиданно белое лицо человека. Застывшие глаза, смотревшие на меня непонятным взглядом. Лицо молодое, красивое. Оно близко промелькнуло мимо моего лица сбоку, я только услышал резкий и сильный звук «ш-ш-шик!» – и нашу машину качнуло от воздушного удара. Автобус со страшным белым лицом водителя пролетел мимо, чудом обогнув нас. Настала тишина. Дорога на встрече была пуста. Смоктуновский молча, как в трансе, завел машину и стал осторожно, невозможно медленно поворачивать «Волгу» назад, выезжая в нужном нам направлении. И тут, как это бывает только в кино, впереди нас оказалась милицмейская машина. Остановилась метрах в пятидесяти от нас, из нее быстро выскочил гаишник в белой дубленке и палочкой перегородил нам путь. Смоктуновский остановил свою машину, осторожно поставил ее на обочине. Гаишник застыл на дороге как статуя командора, и грозно смотрел в нашу сторону. Лицо у него было красное, круглое, непреклонное. Тут Смоктуновский впервые после дорожного шока заговорил:

– Ну, Толя, придётся мне покувыркаться, – сказал он.

Я ничего не понял. Смоктуновский же, бывший до того в лохматой шапке, стащил ее с головы и, держа ее в руке, полез из машины на холод. Согнувшись, вихляющей походкой длинный Смоктуновский шел навстречу гаишнику. У того лицо было по-прежнему красное, злое, непреклонное. Но вот, когда Смоктуновский остановился перед ними и, свершая виноватые эквивоки, стал что-то говорить (только пар от дыханья клубился над его лысеющей головой) – злая красная физиономия гаишника вдруг из круглой – в секунду стала растопыренной, овальной, расплывшись в широчайшей улыбке. Видимо, гаишник узнал всеми любимого Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля». Дорожный инспектор почувствовал, должно быть, на минуту себя в ситуации народного фильма. О, лицо его никогда не могло быть злым, оно излучало само добродушие! Все кончилось тем, что гаишник и Смоктуновский ударили по петухам,

т. е. пожали друг другу руки, и потенциальный виновник ДТП, создавший серьёзную угрозу страшной аварии, потрохал назад к своей машине, на ходу торопливо натягивая на голову меховую шапку. Подбежав к самой машине, Иннокентий Михайлович посмотрел на меня через ветровое стекло, состроил уморительную рожицу и показал язык. Усевшись за руль, он вздохнул глубоко и сказал с облегчением:

– Ну всё, покувыркался.

Затем перекрестился, и мы поехали дальше. Проезжая мимо стоявшей перед нами патрульной машины, Смоктуновский погудел, а инспектор отдал ему честь по всей форме.

Мы долго ехали молча, каждый переживал недавно прошелестевший мимо смертельный миг по-своему. Я испытывал некоторую неприятную боль в горле, словно заостеневшее кольцо, которое стояло там и саднило, как опоясывающая глотку ангина опухоль. Проглотить её было невозможно, уйти от нехорошей боли никак нельзя, потому что совсем недавно смерть пролетела вблизи моего лица и – ш-ш-шик! – и едва не задела его жестким крылом. Никогда еще я не испытывал такого беспомощного обречённого состояния, как в мгновение приближения смерти. Когда становится ясно, что если она вдруг явится перед тобой, от нее никуда не уйти... Но она прошелестела мимо, и только в горле застряло болезненное кольцо от её внезапного мимолетного прикосновения.

Я оглянулся на Смоктуновского, он ответил тем, что бросил в мою сторону мгновенный взгляд и вновь исподлобья уставился на дорогу. И опять ехали молча, довольно долго. Вдруг он произнёс:

– Что, испугались?

Меня задел вопрос, особенно тон, в котором прозвучал, как мне показалось, знаменитый смоктуновский ехидный сарказм.

– А вы нет? – с плохо скрываемой досадой прозвучал мой собственный голос.

– Испугались... Но это зря, вам нечего было бояться, дорогой.

– Это даже интересно получается, – начал я заводиться. – Вы нас обоих чуть не угробили, а вместе с нами и людей из автобуса... И мне нечего было бояться?

– Совершенно верно.

– Это почему же, Иннокентий Михайлович?

– Да потому, Толя, что вы забыли с кем вы едете.

– Я еду с великим Смоктуновским. Что с этого?

– Вы сердитесь, Толя... Извините. Я виноват, а вы неверно меня поняли... Придется объясниться перед вами.

И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.

– Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она началась, я еще учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два метра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице к вокзалу, отец шел с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, меня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошел прямо на меня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты чего? Смотри у меня!» – повернулся и опять возвратился в строй. С того дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня самого в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода готовили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал в степи за Сталинградом, там нас, пехоту, немцы окружили и взяли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военнопленных. Это было огромное выгороженное место в чистом поле. Никаких бараков, просто кусок ровной степи, огороженный колючей проволокой. Вокруг со всех сторон горизонт под линейку. У въезда какие-то строения, бараки для охранников. А пленных было тысячи. Уже пришла осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли руками, щепками, котелками ямы, садились

в них, сверху накрывались с головой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий порядок. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в руках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на ноги и стоять навтыжку, когда патруль приближался. Кто не поднимался, болен был или без памяти, или уже мёртвый, получал короткую автоматную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку еще и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя, и чтобы теплее было. И вот патруль подошел, немцы постояли, посмотрели вниз, потом один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме. Я заболел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что ее не хотели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня беспрерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую приносили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в руке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскавшие их к вахте, выглядели получше остальных, немцы их подкармливали.

Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне обмен. Он отдает буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришел на фронт совсем недавно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие сапоги. А у этого солдата на ногах были резиновые чуни, наваренные из автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдаёт мне чуни с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдаёт буханку черного хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги грязными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. Как только отщипнул первый кусочек и положил в рот – так и не заметил, что было дальше. Опомился, когда весь хлеб был съеден. И что тут началось! Все съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных подальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы могли попросту замерзнуть в лагере. Нас построили по пятеркам в длиннющую колонну и погнали. Недалеко был захваченный немцами в летнем наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к нему и на каждого пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти трофеи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские шинели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах всё плыло. Видел перед собой спины впереди идущей пятерки. И вдруг заметил, что когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал их – из заднего ряда на мое место в переднем ряду, от которого я отставал, быстро проскакивал кто-нибудь из задней пятерки и занимал мое место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти – и снова я оказывался в следующем ряду сзади. А скоро я очутился в последних рядах колонны, вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперед, хватая руками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своем лице изображать шествие обреченных доходяг. Показывал он страшно... Я опять насторожился. Но Иннокентий Михайлович руля не выпустил.

– Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибающие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся и увидел, как едут сзади две телеги, запряженные лошадьми. На эти телеги забрасывают шинели, снятые с упавших на дороге пленных.

Потом подходят к ним и пристреливают и оставляют на дороге. Она далеко просматривалась и вся была в темных лежащих трупах. Как только я всё понял, то откуда только силы взялись – начал рваться вперёд, обгонять других в толпе доходяг, и вскоре догнал уже задние ряды пятёрок. Но и тогда я продолжал рваться вперёд, занимая место в передней пятерке, как только образовывалась там пустота после отставшего. И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь было семнадцать лет, и жить хотелось и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперед, что ее не разглядеть. Моя часть колонны оказалось на мосту через какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. Внутри все горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. Я подошел к конвойному немцу. Камрад, сказал я, камрад! Тринкен! Немец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв ее со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошёл вниз по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я сошел вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лед, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился еще один солдат. Он разбил ногой лед, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг брёвен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сравнял их. Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края моста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышинного цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лед, поскользнулся и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четверенек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мертвом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи спаси! Господи помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей стороны моста, назад на свою сторону не пошел, побоялся идти по льду. Колонна уже шла через мост.

На этом месте своего рассказа Смоктуновский прервался, глубоко задумался, потом выпустил из рук руль и широко перекрестился:

– Господи! Воистину ты существуешь, – с глубоким чувством произнёс он. На секунду зажмурился, совершая крестное знамение, – так показалось мне. Я осторожно покосился на спидометр: машина шла под сто километров по ледяной дороге. Осторожно, ровным голосом я произнёс:

– Руль, Иннокентий Михайлович...

– А? Что? – немного переигрывая, «пришёл в себя» Смоктуновский.

– Руль держите...

– Вы про это. – Он положил руки на руль. – Но я вам уже говорил.... Не забывайте, с кем вы едете. Какая-то высшая сила все время спасала меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось иногда под самым носом смерти плясать. Я много раз смотрел ей в лицо. И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем.

– И всё же, руль не надо выпускать, – мелочно препирался я. – Одна старушка в деревне говорила: Богу молись, а к берегу гребись.

– Очень мудро говорила ваша старуха. Я тоже так считаю. Конечно, надо молиться, но Бог ничего не даёт, если не будешь до последнего хрипеть, выбивать у жизни свое спасение...

Когда я вернулся с войны, мне было двадцать три года, я дошел до Берлина и еще два года дослуживал в Германии свой призывной возраст. Вернулся в Красноярск, а там меня никто не

ждал. Отец погиб, мать рабочая косточка, братья карабкаются сами по себе. Мог ли я тогда мечтать о театре? Да я и не думал о нем, мне хотелось где-нибудь пристроиться, выучиться на кого-нибудь, чтобы прожить... Театр выскочил случайно. Встретился я со своим дружкой, он тоже после армии искал себе место и уговорил меня пойти с ним подавать в лесной техникум. Но ничего у нас не получилось, мы не смогли сдать экзамены, и тогда друг предложил пойти на годичные театральные курсы при студии драматического театра. Там экзаменов никаких не требовалось, зато давали стипендию. Мы решили перекантоваться год, а на следующий снова попытаться в лесной техникум. Но через год дружок мой поступил-таки, а я остался при театре.

– Что-то почувствовали?

– Я вам говорил уже, что в детстве любил читать. А то, что было в жизни, особенно на войне, и то что было в книгах, настолько разное, что не хотелось того, что в жизни, а хотелось того, что было в книгах. А на сцене книга оживала. Жизнь же настоящая была настолько жуткой, что хотелось отвернуться от неё. Она была мне непонятна. Зачем всё это? – вставал вопрос. Для такой жизни, какую я узнал к тому времени, мне не хотелось отдавать себя, свою молодость и красоту, а я был красивый малый, Толя. И тут мне раскрылся театр, в театр можно было сбежать, в театре можно было спастись. Да, да, лично я мог спастись только в театре, на любом другом месте я пропал бы. Бог меня привел туда, чтобы я не пропал. Бог меня всегда хранил и спасал... Неужели вы думаете, что после всего этого он дал бы мне погибнуть где-то на дороге в автокатастрофе? Когда я стал гениальным артистом, как вы говорите.

Он долго вел машину, молча исподлобья глядя на дорогу. Потом усмехнулся, бросил короткий боковой взгляд в мою сторону и продолжил:

– Не вы один это говорите мне, и я знаю, что ваши слова искренни, вам незачем льстить мне. Но я и сам могу подтвердить, что некоторые мои работы гениальны. Говорю это без ложной скромности, как видите. Я не знаю, как это получается, но всегда знаю, когда играл гениально. И тогда мне все равно, кто как подумает и что скажет. Надо мной многие потихоньку смеялись, многих это раздражало, когда я так говорил о себе, а у некоторых это попросту вызывало чувство ненависти. Особенно не любил этого свой брат-актёр.

Мы остановились в придорожном кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, и разговор наш продолжался дальше за тарелкой борща и за шницелем рубленым натуральным с макаронами на гарнир. Мы с ним были совершенно одни в холодной едальне с дюралевыми столиками, с такими же стульями. Весь обед запивался мутным напитком, который шёл за «кофе с молоком». Я закурил, тогда в кафе можно было курить, на столах стояли стеклянные пепельницы. Иннокентий Михайлович не курил, я за всё время наших встреч видел всего несколько раз его с сигаретой в руке. Он после обеда не стал нахлобучивать шапку, чтобы его не узнавали, ведь в кафе кроме нас с ним никого не было. Глядя пустыми отсутствующими глазами перед собой, изображая полную сытость, отвалившись на спинку стула и вытянув длинные ноги в меховых ботинках, Смоктуновский говорил:

– О том, что сыграл гениально, я знал в тех случаях, когда не помнил того, как это происходило на сцене, на киноплощадке. Мое нутро, мое Я как бы умирало, – умирало и приходило другое Я. И оно делало то, чего хотело делать. На репетициях у меня каждый раз получалось чуть по-другому, чем раньше, и это раздражало режиссеров и партнёров. Я понимал, что могу нарушить целостность ансамбля, но ничего не мог с собой поделывать. Ведь я мог сначала репетировать роль, а потом сыграть только в том случае, если сам исчезал, а во мне возникал тот, другой, которого я должен был сыграть. И очень боялся этого другого, потому что он был неизвестен мне и имел надо мной непонятную власть. Словом, он был не я, Смоктуновский, он был другой.

– Это опять-таки началось на войне... Я какое-то время находился в похоронной команде. Мы собирали по полю боя трупы погибших, свозили к братским могилам. Представляете, дело было летом, жуть несусветная, запахи, мы орудовали крючками на длинных палках,

загружали конные фуры. Трупы укладывали штабелями, друг на друга. И вдруг из этой груды, из самой ее середины, раздался страшный стон и такой вот глубокий выдох: уа-а-ахх! Мы все, вся команда, бросились к фуре и стали стаскивать тела на землю, чтобы добраться до того, кто застонал. Мы думали, что он живой, и каждый представил, наверное, себя на его месте. Страшнее этого ничего не бывает. Это страх живым оказаться среди мёртвых. Быть заживо похороненным. Оказаться среди мертвецов и остаться там безвозвратно, без всякой надежды вернуться к жизни. Мы высвободили из груды трупов этого человека, он ещё раз сделал выдох через страшно разинутый рот – уа-а-а-хх! – и замер неподвижно. Это был такой же мертвец, как и остальные, но у него, видно, газы внутри накопились, и они вырвались наружу через глотку. И в ту секунду, Толя, я почувствовал, что во мне вдруг как будто умер я сам, а возник вместо меня тот, который на самом деле был мёртв, но вздохнул как живой. Я не знал, кто он, но он был во мне. Настал момент перевоплощения. Это было первый раз. Было очень страшно, но именно этот страх моего собственного умирания приводил меня к перевоплощению в другой образ. Я начинал жадно жить в этом образе, и никто – ничья воля не могла сбить меня с пути.

– С режиссёрами бывали страшные конфликты. В «Гамлете» Козинцев отказался репетировать со мной, и я репетировал самостоятельно на дому с режиссёром Розой Сиротой, и на площадку приносил готовое решение. О результатах вы имеете представление. Не знаю, многие ли актеры могли умереть сами, чтобы ожить в роли, но я это мог. И это была та моя плата за гениальность, о которой говорите вы, говорили другие. И когда это случалось, я железно стоял на своем и, как правило, – выигрывал.

– В Малом театре на «Царе Фёдоре Иоанновиче» был такой случай. Один заслуженный артист терпеть не мог меня, не здоровался даже со мной, люто ненавидел, – он играл боярина, а я царя. По ходу спектакля в одной сцене он должен был подавать мне реплики, – и это делал, повернувшись спиной ко мне, да ещё и сидя на пандусе декорации! Это что же? Боярин царю подает реплики, сидя спиной к нему! Я обошёл его, встал напротив, размахнулся и влепил ему здоровенную оплеуху. Он живо вскочил и уже подавал реплики как подобает... А зритель ничего особенного не заметил, наверное, подумал, что так и надо.

А в другой раз на этой же пьесе царю Федору сообщают об убийстве царевича. Мне стало дурно. В голове закружилось, я стал падать... Так вот ведь что – никто из моего царского окружения не подхватил меня, и я со всего своего роста грохнулся затылком на сцену. А ведь рядом стояли бояре, рынды и моя благоверная Аринушка! Никому из них не пришло в голову подхватить царя, потому что все они были не в том мире, где был я, царь Федор Иоаннович, а на маленьком пыльном пяточке сцены. И думали не о том, как бы помочь царю, а о том, что скоро спектакль кончится, они выйдут на поклон, затем быстро снимут грим в гримерной и разойдутся по домам.

Мы поехали дальше, и я уже не помню, какие ещё важные откровения услышал в дороге от своего крестного. Это была моя первая с ним поездка, и впервые мне пришлось столь долго общаться со Смоктуновским наедине. Та далекая зима – неважно какого года XX века – была для меня чудодейственной, а я и не догадывался об этом.

Я как-то и не задумывался, что встреча с ним на лестничной площадке хрущёвской пятиэтажки, на четвертом этаже, и крещение моё через семь лет, и поездка вместе с ним в Суздаль – это части единого Явления. Но тогда – кто же такой я, чтобы мне в деревне Немятово глухим ноябрём в убогой избенке явился сам Спаситель? Кто я такой, чтобы ко мне в дом вошел Смоктуновский, божественный актёр, гений истинный, богоявленный? Вот ведь как получается – должно быть, и я такой человек, которому божества являлись в ту минуту, когда он должен вот-вот погибнуть. Смоктуновский был в самом пекле фронтowego ада, в гуще кровавого месива человеческих тел, разрываемых в куски чудовищными рваными тяжкими осколками снарядов и мин, наполненных стальной смертоносной начинкой, дьявольскими осами, укус

каждой из которых способен оставить сквозную пробоину размером с кулак в человеческом теле или снести полголовы. Какой заслон мог быть поставлен пред мягкой трепещущей юношеской плотью, чтобы уберечь ее от пулевого удара или осколочной пробоины? Да никакой! Только Божий покров, невидимый, непроницаемый, способен был скрыть тело будущего гения от алчных взоров смертоносных ос воинства Сатаны. А лично я, спасенный Смоктуновским, я, пропадая от безнадежности и тоски в беспощадной Москве, был спасен, стало быть, тем же покровом. Накрыт краем того же боевого волшебного плаща, которым укутал его Господь на войне – от проникновения холодного оружия, от прожжения раскаленной пулей и от пробития тяжким ударом рваного осколка. Миллион их пролетело мимо нашего Гения, ни царапины не оставив на его теле. Множество роковых стрел пролетело и мимо моего одинокого отчаявшегося сердца, ни одна из них не попала в него.

Мы с Иннокентием Михайловичем пошли ужинать в ресторан туристического комплекса, в котором занимали секцию с гаражом. Смоктуновский с явным удовольствием влез в длинные серые деревенские валенки. Когда вошли в вестибюль ресторана, навстречу выдвинулся и встал перед нами швейцар, высокий седой дядька в ливрейном мундире и чёрной фуражке с галунами. Окая по-владимирски, он строго стал отчитывать Смоктуновского:

- Ты пошто в валенках сюда припёрся?
- А нельзя? – взвился, было, Смоктуновский.
- Чай в ресторан пришел, не в кабак.
- Не пускаете значит в валенках?
- Неуж пущу! Поди, сперва культурки наберись, деревня!

Тут уж я рванулся в бой:

- Да ты знаешь, кто перед тобой, дядя? – начал, было, я.

– Пойдите, Толя! Не надо, – остановил меня Иннокентий Михайлович. – Я лучше схожу, переобуюсь, а вы подождите.

И Смоктуновский поспешно удалился, а я, кипя возмущением, стал вразумлять швейцара:

- Как тебе не стыдно, дядя! Это же артист Смоктуновский!

– Полно врать! Артисты в валенках по ресторанам не бегают! – железобетонно окая, стоял на своем швейцар. – Ты поговори, поговори! А то и тебя не пущу!

- Меня-то за что?

- А за то... Пьяных не пущаю!

- Это я пьяный?

- Пьяный в лоскуты. Возражаешь? Пиши заявление.

Я чуть не лопнул от возмущения. Во-первых, я не пью, во-вторых, с чего он решил, что я пьян? Может, с мороза у меня слишком красное лицо? Я потрогал ладонью щеку... Вскоре вернулся Смоктуновский. Он был в черных штиблетах. Как прошёл в них по глубокому снегу? От ресторана до кампуса пройти надо было немалое расстояние через широкий, не очень хорошо освещенный двор... Смоктуновский остановился перед швейцаром, приподнял за штанины брюки, склоняя голову из стороны в сторону, стал любоваться на свои ноги в сверкающих штиблетах:

- А так хорошо? – спросил он.

– Так другое дело! Проходите! – разрешил дядька и, заложив за спину обе руки, величаво отвалил в сторону.

Мы недурно поужинали, уха и котлеты были хороши, Иннокентий Михайлович позволил себе рюмочку. И после ужина за чаем наш разговор, начавшийся в дороге, продолжился.

– Когда я бежал из колонны пленных, меня спасла одна женщина, пожилая хохлушка. Я простоял под мостом до самого вечера. Колонна уже давно прошла, а я всё не решался

вылезти из укрытия. Ох, вот когда мне стало по-настоящему страшно. Неужели удалось бежать? Неужели свободный? А вдруг они стоят на мосту? И снова схватят, вернут. Нет, они и возвращать не станут, а хлопнут сразу на месте. Ночью появилась луна, стало все видно на снегу. Недалеко от моста была деревня, несколько домиков. Оттуда появилась женщина с коромыслом и ведрами, подошла к проруби, недалеко от моста. Стала черпать воду. Я ей громким шёпотом: «Тётенька, не бойся! Я русский!» Она ничего не ответила, не посмотрела даже в мою сторону. Потом чуть заметно махнула рукой и ушла, с ведрами на коромысле. Я её понял и стал ждать, по – прежнему не выходя из-под моста. Нескоро, ох нескоро она вернулась! Когда все огни в деревне погасли. Луна круглая уже на другом берегу реки оказалась. Тетка прошла берегом до моста и, не спускаясь, сказала негромко:

– Як мисяц за тучку зайдэ, швыдко беги витсея до крайней хаты.

Так я и сделал, выбрался наверх, когда стемнело, и по дорожке пробежал до деревни. Тетка меня встретила на углу и завела в дом. Простая женщина, хохлушка. Простые люди добрые, Толя, чем проще, тем добрее. Она уже нагрела в ведрах воды, налила в цинковую лохань, заставила меня скинуть всю одежду, сгребла её тут же и вынесла куда-то. У меня от дизентерии одежда была вся нечистая, я весь был нечист, и вонь шла от меня страшная. Но тетка и виду не подавала, усадила меня в горячую воду, стала намыливать мне голову. А я сразу так разомлел, что стал засыпать в ванной. Силенки кончились, я не мог даже мочалкой тереть себя. Но тетка меня вымыла, дважды воду поменяла, потом достала мне чистую рубашу и кальсоны. Усадила за стол и дала совсем небольшой кусочек хлеба и маленькую беленькую кружку молока.

– Хлопчик, тоби много исты нэгоже. Заворот кишок будэ», – говорила она. И я мигом проглотил еду, и голод в животе как был, так и остался, казалось, что ещё больше усилился. Но тетка отправила меня на тёплую лежанку русской печки, не погасила лампу и сама куда-то вышла. Я лежал и чуть с ума не сходил оттого, что где-то близко пахло тёплым хлебом! Я свесил голову с лежанки и стал нюхать. И тут увидел, что на полатах, под потолком, лежат несколько круглых караваев, накрытые полотенцем. Не помню уже, как это получилось, но я кинулся с лежанки на полаты, схватил каравай и впился в него зубами. При этом не удержался на печке и свалился вниз вместе с хлебом. Прибежала хозяйка, стала отнимать у меня хлеб – заворот кишок, заворот кишок! – и мы стали драться. Но эта хохлушка была крепкая, сильная, она без труда справилась со мной, отняла хлеб. Я сидел на полу и плакал. Что-то я успел уже съесть, и ещё сказалась борьба, но я почувствовал, что у меня начинается беда с желудком. Я быстро надел обрезанные валенки, стояли у печки, схватил на ходу со стены полушубок и выскочил из дома. За углом присел под завалинкой – и плачу, рыдаю, остановиться не могу. А прямо мне в лицо светит огромная луна. Рыдаю, а вместе с рыданиями с обратной стороны вылетает всё то, что я успел съесть. Вы знаете, Толя, я сидел в сугробе и плакал так горько, как плачут, наверное, младенцы, когда голодны и им не дают молока из материнской груди. Я рыдал и плакал ещё и потому, что понял: теперь-то буду жить...

Эта женщина прятала меня долго, пока я не выздоровел, потом ее родственник отвел меня в лес к партизанам.

– Так вы ещё и партизанили! – поразился я. – И сколько времени?

– Это было не так долго, скоро подошла линия фронта, наш отряд влился в регулярную армию.

После поездки в Суздаль, когда Смоктуновский впервые рассказывал мне о своем военном прошлом, о плене и побеге из плена, у нас как-то не заходил разговор на эту тему, и я ничего не узнал, какова была фронтовая жизнь Смоктуновского в продолжении двух лет наступления нашей армии через Европу до Берлина. Неизвестно мне, как проходила его срочная служба в Германии после победы. Но я, сам прослуживший в армии три года, могу уверенно говорить, что реальная армейская жизнь отнюдь не приближает человека к Богу, и

все божественное, заложенное в нём, дисциплинарно наказуется, если вступает в конфликт с воинскими уставами. И тому высочайшему, трепетному, тончайшему душевному состоянию многих его персонажей из кинофильмов и спектаклей, покоряющей власти смоктуновской духовной эманации, явленной через актёрскую игру, – не могу найти корней в его реальной биографии. Она была груба, сибирское детство немилостиво, отец буйно пил, дрался в семье, с шестнадцати лет на войне, два года фронта и ещё три – служба на чужбине, в оккупационных войсках... Откуда взялись те высокие, тончайшие энергии духа, которые покорили весь мир? В Англии он был признан лучшим исполнителем роли Гамлета за все времена. В Японии, на представлении «Чайковского», в котором он сыграл одноименную роль, зрители во всём огромном зале пали на колени, когда Смоктуновский вышел на сцену. Рассказывая мне об этом, он не без юмора добавил: «Я не ожидал этого – и совершенно непроизвольно сам тоже брякнулся на колени. Японцы на это отозвались дружным смехом, потом встали и очень долго аплодировали»...

Однажды в добрую, как мне показалось, минуту я спросил о том, какое значение в его жизни и творчестве имели для него те прекрасные женщины – актрисы, такие как Анастасия Вертинская, Алла Демидова, Маргарита Терехова и другие красавицы, с которыми ему приходилось играть в кино и на театре и соприкасаться в жизни. Но минута оказалась вовсе не доброй для меня, и я получил неожиданный щелчок по носу:

– Никогда, Толя, никогда, вы слышите? – не задавайте мне больше подобных вопросов. Я не желаю ни с вами, ни с кем бы то ни было разговаривать на эту тему.

Мне стало стыдно до высокотемпературного жара на скулах, до слёз жгучего стыда, я не мог найти слов оправдания, и только пролепетал еле слышно: «Извините, крёстный...» Представил себе тысячу японцев, бросившихся на колени перед ним – и испытал в душе вторую, возвратную, волну стыда.

Здесь я должен сказать, что за двадцать лет близкого общения с ним он ни разу не обратился ко мне иначе, чем на «вы». Возможно, это говорит о том, что он не чувствовал дружественной близости ко мне, ведь я был намного моложе него. И вообще, дружбы как таковой между нами не было, как не было и никакой живой почвы, на которой она могла бы возникнуть... Ну и как при этом я мог задать ему вопрос об его отношениях с красавицами? Вот же болван!

Но прошло не очень много времени, возможно, всего дня два-три, мы вернулись с зимней прогулки, в мотеле крёстный вскипятил электрочайник и сделал горячий чай. И вдруг он сам, совершенно неожиданно для меня, стал рассказывать.

– Из Красноярска я через год поехал в Норильск, за Полярный круг, там были двойные северные ставки, а мне хотелось заработать, приодеться. К тому же я купил фотоаппарат и стал фотографировать детишек в детсадах, приработок был неплохой. Норильский театр оказался очень хорошим, там работали ссыльные режиссёры и актёры из Москвы и Ленинграда. Там я с Георгием Жженовым встретился. В общем, всё было хорошо, – в Норильске я и прошёл настоящую актерскую школу. Но вы знаете, Толя, было так холодно! И вот порой намёрзнешься, наголодаешься – и какая-нибудь актриса сжалится и пустит к себе... Вдруг крик возмущения: «Ты что это молоток съёшь!» – Какой молоток? Никакого молотка! Это у меня с голодухи так получалось. – Я с великим удивлением посмотрел на крестного. И впервые заметил, что передо мной крепкий, сильный, пролетарски здоровый жилистый мужик, а не расслабленный рефлектирующий интеллигент, каких порой изображал Смоктуновский.

Нет, мы не были и не могли быть близкими друзьями, слишком большая разница в возрасте и несовместимые социальные весовые категории, и весьма отдаленные друг от друга ареалы профессионального существования... Но ни с кем другим, как мне известно, он не ездил на отдых вдвоем – был Смоктуновский человеком достаточно сложным для личного общения и закрытым. Так почему я? Ведь видных друзей и близких возле него было великое множество,

тех, которые запросто называли его Кешей. И все же – внимание его ко мне было бесконечно добрым, особенным. И он крестил меня. Я никогда раньше не задумывался над тем, почему из всего большого людского окружения, тяготеющего к его знаменитой личности, он одарил меня своим особенным добрым вниманием. Я просто радовался возможности человеческого общения с ним и был счастлив каждому случаю встречи с Иннокентием Михайловичем.

Зимой ли это было – встретились мы однажды в старом метро «Арбатская». Его жена и дочь, и я вместе с ними, шли, только что выйдя из поезда, вдоль привычно жутковатого провала путей метрополитена по малолюдной платформе. И он, одиноко стоявший на балконе, издали заметил нас и, воздев над головой руки, стал делать бурные жесты. Его жена и дочь были, видимо, привычны к подобному и шли молча, безответно, лишь радостно, снисходительно, одинаково улыбались. Я же заразился энтузиазмом и тоже вскинул руки в приветственном семафоре... В ответ он что-то такое сотворил со своими руками и вздернул их еще выше, так что торчавшие из рукавов куртки длинные кисти заматались уже под самым потолком станции подземки.

В это время с тылу к нему подступил откуда ни взявшийся милицейский служитель, он приблизился вплотную и стал внимательно наблюдать, не кроется ли за этими странными маханиями каких-нибудь преступных намерений. Он, вообще чуткий интуитивист, ощутил на спине чужой взгляд, мгновенно насторожился, медленно опустил руки. Затем резко через плечо оглянулся и на секунду замер – испуганно, как мне показалось, уставившись на стража порядка. Но спустя эту самую секунду, отвернувшись от милиционера, Царь замахал еще усерднее. Однако в его движениях уже не было чистоты произвольной импровизации и чувствовались некое принуждение и скрытый вызов гордого духа: нате-с, я вот так еще махну и вот этак...

Милиционер (видимо, тоже интуитивист) молча понаблюдал за ним и ушел, не придравшись, с миром унес свой покатый служебный живот. И уже вскоре мы встретились с Иннокентием Михайловичем на площадке переходного балкона. И я, в качестве добровольного проводящего и конвоя, «сдал» ему его женщин, которых он и вышел встречать в метро. Они жили тогда на Суворовском бульваре. Откуда мы ехали, и почему я оказался в тот поздний час с ними – не столь важно. Я проводил их по его просьбе.

Он ушел, радостный и светлый в тот вечер, с двух сторон подхваченный женою и легконогой, высоконожкой дочерью.

В этот день с утра мы ездили на машине по расчищенным дорогам вокруг Суздаля. Стоял солнечный день с небольшим морозцем. Ярко-белый снег, голубое небо, редкие светлые облака в широком небе, белые освещенные солнцем стены попутных храмов. К одному из них Смоктуновский подъехал как можно ближе, снял шапку, выскочил из машины и побежал к воротам. Храм был закрыт, вход заколочен, по всем признакам он был недействующим, как и большинство храмов по России в то время. Смоктуновский по глубокому снегу подбежал к боковому приделу и, склонившись вперед, приложился к белокаменной стене.

Когда мы поехали дальше, я увидел, как через дорогу перебегают стая белых куропаток. Они, видимо, машин не боялись и довольно близко подпустили нас.

– Смотрите, смотрите! Видите? – закричал я, указывая рукой.

– Что за птицы? Голуби?

– Да куропатки это, Иннокентий Михайлович!

Лицо его расплылось в умильной улыбке.

– Куропаточки! Такие славные!

Он остановил машину, и мы стали смотреть на то, как стая бегом строчит через белое поле. Иннокентий Михайлович вылез, стараясь не стукнуть дверцей, со своей стороны, но куропатки тут же с шумом снялись и полетели прочь, свистя крылами...

Он стоял на морозе, без рукавиц, без шапки и смотрел вслед улетающим птицам с таким сожалением, даже болью в глазах – что совершенно не связывалось с обыденными реалиями: зимняя дорога, сверкающий белый снег, улетающие птицы... Стая отлетела не так уж далеко, снова бухнулась на снег и потекла дальше тёмной строчкой...

Он спокойно говорил: «Я гений». Многие его работы в кино и особенно на театре бесспорно были гениальными. Но человек Смоктуновский никак не смотрелся гением. Гением смотрелись его Гамлет, Чайковский, Иванов, Царь Федор, Иудушка Головлев, Скупой Рыцарь... Я все это видел, все эти его работы, этих людей, в кого он перевоплощался. Но я видел также на протяжении двадцати лет конкретного человека, и ничего «гениального» в нем не заметил. Он был для меня простой, добрый, искренний человек. Мой крёстный. Он был понятный. Близкий мне тем, что в общении со мной не скрывал шероховатостей своего характера, не умалчивал и о том, какие слабости просматривал у меня. И всегда говорил мне «вы».

Когда вышла первая моя книга в издательстве «Советский писатель» – в 1976 году (три года спустя после явления Смоктуновского в мою жизнь), я устроил домашнюю презентацию у себя на Академика Павлова, 36. На праздник всей моей жизни я пригласил Смоктуновского, соседей Горшманов, также и Владимира Германовича Лидина, своего учителя по Литинституту (он писал записку в редакцию «Советского писателя», по которой мою рукопись там и приняли во внимание), редакторов отдела прозы, несколько моих друзей. Гости именитые и не очень, но все близкие мне. И вот на этом своем главном празднике я не заметил как, но напился. По природе своей мой органон не воспринимает алкоголя, от пары рюмок водки я могу уснуть прямо за столом. В тот раз я пошел кого-то проводить до метро, а потом возвращался, классически пошатываясь из стороны в сторону, и это мне почему-то очень нравилось. А у своего подъезда я сел на скамеечку передохнуть и отключился. Проснулся я от того, что кто-то сильно тряс меня за плечо. Передо мной стояли, интеллигентно глядя на меня, старенький профессор Лидин, рядом с ним Иннокентий Михайлович. Других я и не заметил, потому что понял: я пропал. Опозорился как последний сукин сын. Но честная публика, собиравшаяся уехать на «Москвиче» Лидина и на «Волге» Смоктуновского, довольно добродушно попрощалась со мной, расселась по машинам и отбыла, оставив меня одного умирать у подъезда, с мутной головой и позором на душе.

В следующий раз, встретившись со мной, Смоктуновский говорил непривычно для меня сдержанно, строго, серьёзно.

– Никогда больше не пейте, Толя. Вы это не умеете, вы можете не только попасть в неприятности, но и в настоящую беду. Потому что вы слабый, а слабым пить нельзя!

– Почему же это я слабый? – самолюбиво покривился я. – Я не считаю себя слабым.

– А я считаю себя слабым! Никто не должен считать себя сильным. Потому что все на самом-то деле слабые. Нет таких – сильных, а те, что считают себя сильными – как раз самые слабые. У тех, кто считает себя сильными, надо брать то, что тебе хочется. Но это не так просто! Потому что эти слабые – сильные мира сего ещё и очень хитрые и жадные. Им хочется все себе забрать, другим не давать, самим владеть, им там наверху хорошо, они никого не желают подпускать в свой круг. И надо научиться вам правильно вести себя, Толя, чтобы они подпустили вас к себе.

– А может и не надо этого, Иннокентий Михайлович?

– Надо, Толя. Вот вас десять лет не хотели печатать, почему? Потому что вы плохо написали? Нет, у вас замечательные рассказы. Талантливый, высокий язык. Но вы были не из того круга, понимаете? Я принёс ваши рассказы в журнал и сказал: вот вам гениальные рассказы, читайте. И в тот же вечер из редакции звонят мне и, вырывая трубку друг у друга, благодарят. Сначала я подумал, что благодарят за мои статьи, которые в тот же день приносил им, но потом

понял, что они за ваши рассказы благодарят. Вот видите, когда вы сами носили их по редакциям, никто ведь не хотел принимать.

– Но вы все равно рисковали, Иннокентий Михайлович.

– Как видите, нет. Надо вам и самому так действовать. Вы можете никому ничего не говорить, но должны сами знать, что ваша работа гениальная, – если она на самом деле гениальная. Потому что вы этого только и хотели, ничего другое вас не устраивало, и вы добились наконец своего. С этой уверенностью вы и заходите в редакцию, ничего не говорите, молча кладите рукопись перед редактором. Смотрите спокойно на него. И все время помните, что работа ваша хороша. Очень хороша! Там, наверху, ничего не понимают в том, какая наша работа гениальная, какая нет. Их надо убедить в этом, им же ведь всё равно. Также у них не дрогнет душа, когда перед ними предстанет настоящий шедевр. А уже на самом вершине попросту не понимают, что такое шедевр. Конечно, некоторые могут даже поговорить о музыке или даже вмешаться в творческий процесс, одним пальчиком наигрывая на рояле. Могут дать другое название: «Жизнь за царя». Могут посоветовать самой Плисецкой как-то попримочнее раскрывать ноги. Это самоуверенные люди. Только вот, к сожалению, от них-то и зависит, жить нам с вами или не жить, получать награды и почести или в Сибирь, в глушь в Саратов, на Кавказ, на Колыму. Вы бы видели этих... «из самых верхов». Кожа на лице гладкая, как натянутая, сразу видно, что кушают они только самые лучшие продукты, каждый волос на голове, каждая морщина на лбу тщательно промыты. И сразу видно – они живут лучше всех остальных, и им хочется всегда так жить. Вы понимаете, Толя, что все эти верхние – это из самых отчаянных мещан, им до наших шедевров никакого дела нет. Поэтому, дружок, вы не должны стесняться и брать от них все, что возможно. Это не так просто, они всякие блага и награды дают не за шедевры, а за свою любимую рыбку, которую хотят скушать. Вот вы и должны их перехитрить – закинуть удочку, на крючок насадить что-то похожее на такую рыбку. И когда клюнет – вы раз! – подсекайте свою добычу! Впрочем, что это я вам говорю всякие непонятные вещи. Вот скоро в газете «Правда» выйдет моя большая статья, прочтите её и всё поймёте. А я через некоторое время получу Госпремию...

Действительно, Смоктуновский через некоторое время получил Госпремию. А статью я читал – не дочитал... Он получил и Ленинскую премию, и Героя Соцтруда, и другие самые высокие премии и награды... Может быть, он и был прав, говоря об удочке и наживке, но совершенно не убедил меня в том, что его гениальные работы в кино и на театре, явились приманкой, наживкой для удачного ужения Большой рыбы. Он сыграл в одном фильме роль Ленина, возможно, она и была «наживкой», но в то сложное время, насквозь пропитанное миазмами идеологической лжи и лицемерия, это была не самая отвратительная наживка, использованная умелым Рыбаком. В те времена поймать Большую рыбу гениальному художнику было весьма сложно, Иннокентий же Смоктуновский ловил и зацепил не одну, я не знаю другого такого случая. И от души радуюсь за удачливого Рыбака.

Может быть, в связи с получением Госпремии, или по случаю другого триумфа Смоктуновского – он давал банкет в гостинице «Россия». Пригласил и меня, но не обычным существующим способом, присылкой заранее пригласительного билета, а телефонным звонком прямо в день банкета:

– Приезжайте ко мне, и мы поедем с вами на одно славное мероприятие. Постарайтесь одеться понаряднее.

Я приехал весьма заинтригованный, и он привез меня к «России», возле самого Кремля. Я никогда раньше в этой колоссальной гостинице не бывал, да и после, вплоть до знаменитого пожара в нем и сноса ее, был всего пару раз на каких-то торжественных мероприятиях. Смоктуновский привел меня в огромный банкетный зал, где были уже накрыты столы. Его узнали, подошли какие-то официальные гостиничные служители, крестный немного «покувыркался» с ними. Затем повел меня вокруг столов, как бы осуществляя осмотр и степень

готовности праздничного парада. Закончив обход, он пригласил меня присесть рядом с ним на конце стола:

– Давайте, Толя, закусим заранее. А то начнется торжество, и я так и не смогу нормально покушать. Начнутся тосты, объятия.

– А можно так, Иннокентий Михайлович? – оробел я.

– Думаю, что можно. Никто нам ничего не скажет. Ведь я хозяин сегодня.

И как же он оказался прав! Когда через некоторое время показались в дверях гости, повалил густой звездопад самых маститых знаменитостей отечественного кино – Ефремов, Табаков, Мордюкова, Терехова, Глебов и т. д. – крестный упорхнул навстречу им, стал частью грандиозного звездопада. И я, совершенно ослепленный его нестерпимым сиянием, не заметил того момента, как потихоньку покинул триумфальный зал и уехал домой.

Но сколько бы раз потом ни видел Смоктуновского на всяких торжественных мероприятиях, никогда не висело на его пиджаках сверкающего иконостаса наград. После его смерти жена Суламифь показала мне обувную картонную коробку, в которой, как она сказала, Иннокентий Михайлович хранил всё самое дорогое для себя. В коробке было много чего, но я запомнил две вещи: это солдатская медаль «За отвагу» и пожухлая фронтовая газетка времён войны, в которой была напечатана статья «Подвиг ефрейтора Смоктуновича». В ней рассказывалось о том, как он со своим отделением переправился через реку и, закрепившись, долгое время удерживал плацдарм.

Я уже не помню, при каких обстоятельствах Смоктуновский говорил мне:

– Если я почувствую когда-нибудь, что самое лучшее уже сделано, и что отсюда вот сюда уже больше ничего не поднимается, – он сделал такой жест: составленные ладонями вверх руки, прижатые к животу где-то у солнечного сплетения, поднял к самому горлу, отчего плечи его пошли изломом кверху, – я не стану стреляться или вешаться, а просто буду спокойно зарабатывать деньги. Деньги ещё никому не помешали, денежек лишних не бывает, и чем больше их у тебя, тем спокойнее на душе.

– А в моей деревне Немятово мужики говорили: всех денег не заработаешь, – ответил я ему. – Сколько принесёшь домой на ляжке, то и гожо.

– На ляжке? – удивился он.

– Мужики немятовские были потомственные плотники-отходники. Они осенью уезжали в отход, в другие края, строили там, а потом, к весне возвращались домой с заработком. Деньги хранили в кармане штанов, зашпиливали булавками. Вот и говорилось: принести на ляжке.

– Я их понимаю и тоже считаю, что сколько заработаешь, то и гожо. Вы не подумайте, что я жаден к деньгам. Мне доставляет удовольствие их зарабатывать. Вот моя Соломка (*его жена Саломея, Суламифь. А. К.*) ругает меня, что я часто соглашаюсь выступать где-нибудь в Доме культуры, мол, зачем губить здоровье за какие-то гроши. А когда вернусь домой, спрашивает: сколько?

Однажды пришлось видеть уморительную сценку. Иннокентий Михайлович заехал к своей тёще сразу после расчёта на киностудии. Дело было зимой в декабре. Он был в просторном свитере с широким воротом. На столе лежал целлофановый мешочек для продуктов, с запечатанными банковскими пачками в крупных купюрах. Смоктуновский одиноко сидел за столом на кухне, мы с Широю Григорьевной стояли в дверях, на пороге, заглядывали из коридорчика, изображая зрителей. Иннокентий же Михайлович сидел, пригорюнившись, с наигранной тоской смотрел на мешочек. (Я замечал, что он почему-то деньги и какие-то документы носил в целлофановых мешочках). И вдруг изрёк:

– Ну, всё, ребята. В этом году денег уже больше не будет.

Впервые за границу мне пришлось ехать в Болгарию, где вышла моя книга в переводе на болгарский. А Смоктуновский этим же годом, летом, прожил там довольно долго по при-

глашению главы социалистического государства Болгария. И вот узнав, что я еду туда, Смоктуновский посоветовал:

– Возьмите побольше денег. Там много хороших товаров, дешевые дублёнки, кожа, чудная обувь. Привезёте своим девочкам подарки.

– Но разрешено вывозить только двести рублей.

– А вы возьмите больше! Только спрячьте на самое дно чемодана, знаете, вот так – горизонтально. – И он с ликующим видом удачливого контрабандиста, сверкая своими лазурными глазами, опять показывал характерным жестом своих сверхвыразительных рук, как надо укладывать на боковое дно чемодана контрабандные купюры.

– Но у меня и денег больше нет! – попытался я увильнуть.

– А я вам дам! Можете после вернуть.

И Смоктуновский полез на книжную полку, встав на стул, и достал из-за какой-то книги пачечку денег. Он отсчитал пять сотенных и протянул мне щедрым жестом. И я, разумеется, не посмел отказаться, деньги взял, но, придя домой, перепрятал всю пачечку в свою секретную книгу на своей книжной полке. Возвратившись из Болгарии, я тотчас вернул деньги крестному.

В загадочной теме «гений и деньги», а конкретно – Смоктуновский и деньги – я разобрался мало, видел только то, что видел, и эти эпизоды, происходившие на моих глазах, были скорее забавными, чем поучительными. Как-то зашел я к соседям Горшманам и застал там за каноническим в те советские времена кухонным столом Смоктуновского и какого-то крепкого молодого человека. Вид у обоих был беспокойный, напряженный, Смоктуновский натянуто улыбался, но это был отнюдь не его «кувыркающая» улыбка. Молодой человек не улыбался, но был, как будто, сердит, взъерошен, с красным лицом. Иннокентий Михайлович ядовито-ласковым голосом говорил:

– Ну что скажешь, брательник, хорошо тебе? Приехал, живёшь на всем готовеньком, да ещё и машину купил задёшево, дешевле и не бывает. А ты знаешь, за сколько я ее мог бы продать? Знаешь? То-то же...

Как я впоследствии понял, Смоктуновский продал родному брату старую машину «Волгу», себе брал новую, модернизированную, из самого Горького. А шуточки с братом, коих я был свидетелем, были отголоском каких-то былых, чуть ли не детских, взаимоотношений братьев.

История с его новой «Волгой», самой престижной советской машиной для того времени, оказалась драматичной, едва ли не трагичной. Смоктуновскому, как герою фильма «Берегись автомобиля», создавшему лучшую рекламу для этого автомобиля, Горьковский Автозавод прислал прямо с конвейера новую машину. И вот счастливый хозяин поехал от своего дома, куда доставили на автоплатформе «Волгу» в смазке, выехал на проезжую часть – и тут сорвался незакрепленный карданный вал, передним концом ударил в асфальт, пробил днище и чудом не покалечил водителя. Скандал этот был улажен быстренько – на следующий день из Горького доставили другую новую машину, причем сопровождал ее сам директор Автозавода, приехавший с извинениями. И должно быть, для машины с конвейера была сделана солидная скидка, к вящей радости Иннокентия Михайловича.

Считать его жадным к деньгам – в теме гений и деньги – было бы попросту глупо. Был ли жаден к деньгам Микеланджело? Леонардо да Винчи? Бетховен? Деньги они умели зарабатывать, и деньги у них водились. Но вот таинственный вопрос: какое реальное благо принесли деньги в жизнь этих гениев? У всех троих не было семьи, детей, не владели они дворцами. Все трое умирали в одиночестве, в тягости душевной.

Смоктуновский получил все самые крупные премии государства, многие зарубежные премии, все высшие награды страны, получил квартиры в Ленинграде, в Москве, на Суворовском бульваре и на одной из Тверских-Ямских. У него была дача, была семья, жена, двое детей. Но как же так случилось, что к концу жизни он едва ли не оказался в нужде? Правда, было

такое время очередной глобальной катастрофы России, когда все в стране, кроме проходимцев, рвачей и жуликов, вмиг впали в нищету. Но работяга-крестный мужественно боролся с невзгодами времени, хватался за любую работу, шел на любой проект, нравилось это ему или нет. У него было не очень здоровое изношенное сердце, слабые глаза, были головные боли, сильно расшатанная нервная система, но он работал, не жалея себя, зарабатывал на семью в окаянную пору перестройки социализма в капитализм и предательской капитуляции коммунистов в России. Смоктуновский умер, оставив семье какие-то деньги, немалую часть которых украл у них некий жулик-скульптор, обещавший изготовить памятник на могилу великого артиста. Кроме денег он оставил большую квартиру у Белорусского вокзала, дачу и машину «Волга».

За год до его смерти я приехал в Москву из Кореи, где работал по контракту в университете. Были летние каникулы, я заехал к крестному. В его огромной квартире было много пустого пространства и мало уюта, – какое-то безликое жилище, обставленное незапоминающейся мебелью. Я пришел к крестному со своей новой женой, с которой бракосочетался в ЗАГСе, расположенном в том же доме, где была последняя квартира Смоктуновского. Вот опять судьбоносное совпадение, – уже которое! Иннокентий Михайлович приходил на церемонию бракосочетания и даже снял её на свою видеокамеру, сопровождая запись комментариями, произнесенными знаменитым смоктуновским голосом... Но на свадьбу он не пошёл и к себе после церемонии в ЗАГСе не пригласил, хотя это происходило едва ли не в соседнем подъезде. Его жена Суламифь, дружившая с моей первой женой Зоей, не желала принимать меня с новой супругой. А он сочувствовал мне и как-то по-доброму, грустно смотрел на моё счастье – женитьбу пятидесятилетнего писателя на тридцатилетней поэтессе. И вот мы с этой поэтессой заявили к нему через несколько лет прямо из Сеула. Он был дома один, повел нас на кухню, и там, смешно хлопая ладонями себя по бокам, быстро – весело заговорил:

– Вот, ребятки, чаем бы надо вас угостить, но чаю-то нет и ничего нет. Соломка поехала куда-то чего-нибудь добыть на другой край города, может быть, что-то и привезёт. А возле нас в магазине ничего не найти, ну ничего-ничегошеньки, одна минеральная вода «Ессентуки».

– А нет ли поблизости валютного магазина? – спросил я.

– Валютный-то есть, да валюта вся вышла, ха-ха-ха! – театрально хохотнул Смоктуновский. – А вы что, Толя, при валюте?

– Можем себе позволить такую пакость, крестный!

И мы отправились, где-то недалеко на Второй Тверской Ямской зашли в незаметный с улицы валютный магазин. И там начался спектакль одного актёра – и этот спектакль видел только я, и мне грустно вспоминать его, тем более, что всего через год после этого Смоктуновский умер, шестидесяти девяти лет. (А я ещё жив, и мне уже семьдесят пять, я намного пережил крестного. Мы с ним были знакомы на этом свете почти двадцать один год...) Он бегал от полки к полке, набирал в корзину банки, пакеты, коробочки в ярких упаковках. Он изображал ошеломленного невиданными возможностями счастливецца, которому неожиданно выпала великая удача.

– О, кофе! Натуральный бразильский. Можно я баночку кофе возьму? А можно две? Вот сыр... о, швейцарский сыр! Сыр я тоже люблю, ребята. Можно, возьму двести грамм? Что? Четыреста? Да вы что, Толя!

– Иннокентий Михайлович, берите четыреста, ведь на семью берёте.

– Ах, Толя, вы очень-очень щедры! А можно ещё буженинки возьму?

– Конечно, крестный.

– А вот белорыбица отварная. Рыбку я тоже люблю. Можно?

– Берите рыбу.

– Нет, Толя, вы чересчур щедры!

– Дорогой крестный, ну, не мучайте меня! Берите всё, что вам хочется, только не благодарите!

– Но уже долларов на двести набрали!

– Ничего, справимся!

Вот такой был спектакль, в главной роли – великий Смоктуновский. К тому времени я уже обладал абсолютным пониманием того, что Смоктуновский гений. Что он будет вечно жить, как живут Ван-Гог, Сезанн, Модильяни. Но вот одно – знать, что мой крестный такой же гений, небожитель, как и они, и другое – покупать ему отварную севрюгу и буженину! Две реальности никак не схлопывались. Какой же он небожитель, если ты покупаешь ему палку копченой колбасы и банку кофе? Когда контакты этих двух реальностей замыкаются, происходит взрыв огромной силы, в котором сгорает, дематериализуется, уходит в аннигиляцию – и понятие человеческого гения, и вкус отличной московской буженины. То есть, перефразируя поэта, – гений и буженина несовместны.

Мне очень и очень грустно, что последняя моя встреча с живым Смоктуновским состоялась при таких обстоятельствах. Через год, когда вновь на каникулах вернулся в Москву, я увидел Смоктуновского в гробу на сцене МХАТа, – неузнаваемого, как и все покойники, обложенного тяжелой горой траурных цветов...

С тех пор живым вижу его только на экранах телевизоров, на дисплее ноутбука – и когда увижу, всегда мысленно здороваюсь: «Ну, здравствуй, крестный». Но дороже этих встреч на экранах вечности были для меня те реальные встречи в брэнной жизни, когда он проявлял дружеское внимание ко мне, только лишь ко мне. И были у нас всякие приключения, о которых я никогда не забуду.

В далеком прошлом, задолго ещё до его ухода в бессмертие, случилась ещё одна поездка в Суздаль, также зимой. Смоктуновский взял с собой и сына Филиппа, у того были зимние каникулы в Щукинском театральном училище. На этот раз мы поселились в том же самом мотеле, но бокс взяли на одну комнату больше. Я настоял на том, чтобы за кормление мы оплачивали пополам: день платить крестному, другой день мне. Такое решение принял я потому, что Иннокентий Михайлович вначале установил, что утром завтракать в ресторане мы не будем, обойдемся чаем с домашним вареньем, привезенным с собой, и остатками белого хлеба от вчерашнего ужина в ресторане. Крестный встал пораньше, и пока мы с Филиппом ещё валялись в постелях, в трёхлитровой стеклянной банке согрел электрическим кипятильником воду. Заботливо намазав вареньем зачерствевшие кусочки хлеба, он разливал по кружкам заваренный чай, держа в руках обернутую в полотенце стеклянную банку. Мы с Филиппом как замороженные смотрели на его действия, потом переглянулись, я подмигнул ему, и Филипп улыбнулся, широко осклабившись. Заметив это, крестный невозмутимо произнёс:

– Ничего особенного. Хлебушек нельзя оставлять. Утром чай, а в обед накормлю вас от пуза!

И действительно, в обед он накормил нас «от пуза». Однако после ужина я и сделал предложение, что на другой день кормлю я, и пусть так и будет дальше – кормежная чресполосица, так сказать...

Вечером, сидя в большой общей комнате, где располагался спать на диване Филипп, мы разговорились, и я почему-то рассказал семейную историйку, связанную с моим отцом. (Отец давно умер, Андрею Александровичу сейчас было бы больше ста лет. Царство ему небесное!) А историйка была вот такая. Отец родился в России, куда нелегально перебрался мой дед, принявший крещение, в надежде получить российское подданство и земельный надел. Землю он так и не получил, но у него родилось трое детей, три сына. Безземельный дед батрачил, та же участь ожидала и сыновей, но тут пришла революция в Россию, дед умер, а средний сын Андрей, будущий мой отец, обучился на рабфаке, потом поступил в педагогический институт и, закончив его, стал преподавателем русского языка и литературы. И вот он рассказывал, что в институте среди студентов-корейцев был один «перестарок», человек лет за тридцать,

которому очень тяжело давался русский язык. Ему помогали его земляки, на экзаменах писали шпаргалки, засовывали их в самодельные матерчатые тапочки, в которых в тридцатые голодные-холодные ходили студенты-корейцы, – этих «коней» перегоняли ногами под столом к потному от страха студенту-перестарку, которого звали, скажем, Син Пен-Хва. И этот Син Пен-Хва с божьей помощью и помощью друзей закончил институт, и вдруг исчез с их поля зрения. А пришел 1937 год, когда всех корейцев репрессировали и перегнали в эшелонных конвоях на землю Средней Азии и Казахстана. Я и родился в Южном Казахстане, в селе русских ссыльных староверов Сергиевке, куда после окончания Пединститута был распределён на работу мой отец. Спустя много лет он был направлен на работу – сначала на Камчатку, оттуда на Сахалин – директором корейской школы. И вот в те годы совершенно неожиданно к нему пришло письмо от давно исчезнувшего товарища Син Пен-Хва. Оказалось, что он каким-то невероятным образом очутился в Москве, избежав всеобщей участи репрессированных корейцев 1937 года, и работал в Учпедгизе, издательстве учебно-педагогической литературы! Этот Син Пен-Хва написал отцу, что от имени народного образования бросает клич бывшим своим однокорытникам по Пединституту, чтобы они объединили, под его руководством, свои усилия в благородном деле – перевели на корейский язык учебники «Родной речи» для корейских школ, которые были открыты на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. Отец готовно отозвался, перевел за зиму, усердно трудясь по ночам, «Родную речь» за какой-то класс и отправил рукопись Син Пен-Хва в Москву. Также сделали ещё несколько знакомых отцу учителей-корейцев. И тут почтенный Син-Пен-Хва снова исчез на долгие годы. Сведения о нем получил отец много лет спустя от корейцев – москвичей, с которыми вместе учился во Владивостоке. Они рассказали, что Син Пен-Хва издал под своим именем в Учпедгизе несколько учебников миллионным тиражом, и стал сказочно богат. От такого материального преуспевания товарищ Син Пен-Хва маленько свихнулся, должно быть, потерял чувство реальности, купил в Валентиновке огромную двухэтажную бревенчатую дачу, и когда у него раздавался телефонный звонок, он нетерпеливо, рывком хватал трубку и с невероятно хамским акцентом орал: «Я Син Пен-Хва! А ты кто?!»

Эту забавную историю я рассказал в тот вечер, когда вернулись из ресторана в мотель. А наутро, проснувшись, я услышал из соседней комнаты, где спал Смоктуновский, его знаменитый голос, произносивший на разные лады:

– Я СИН ПЕН-ХВА, а ты кто?

Проходила небольшая пауза, затем следовало повторно:

– Я Син Пен-Хва, А ТЫ КТО? – снова небольшая пауза, затем хохот, и новый вариант: «Я Син Пен-Хва...»

Это Иннокентий Михайлович по своему актерскому обыкновению утром разогревал голос.

Днем после обеда в вестибюле ресторана к нам подошли две местные девушки, едва живые от робости. Заикаясь, краснея и бледнея, поздоровались со Смоктуновским и представились, что они из Суздальского самодеятельного народного театра. Стало известно, Смоктуновский приехал на отдых в Суздаль, и вот народный театр приглашает его встретиться с актерами. Я подумал: сейчас возникнут сложности, потому что Иннокентий Михайлович как раз и сбежал из Москвы, где его беспрерывно приглашали на всякие благотворительные мероприятия для народа. Но Смоктуновский очень мило, по-отечески обласкал оробевших суздальчанок и согласился придти вечером, после ужина.

Мы пошли втроем, Смоктуновский пригласил и меня с Филиппом. Шли через широкое снежное поле, вдали горели огни центра Суздаля, где должен был находиться театр. Девушки, приходившие отвести нас, убежали вперед, мы вольным строем следовали сзади, и почему-то нам было весело. А мороз был хорош, под ногами звучно скрипел снег. Смоктуновский был в

своих излюбленных валенках. Филипп озяб и, ссутулившись, убежал вперед догонять девушек. Мы с Иннокентием Михайловичем стали обсуждать, как ему представить нас с Филиппом.

– А как представить? Ну, скажу что Филипп мой сын, а вы мой друг.

– Нет, Иннокентий Михайлович, так не интересно. Вы крупная персона, вы не можете путешествовать без эскорта. Вот давайте мы с Филиппом будем ваш эскорт.

– Как это?

– Мы будем вашими секретарями, – вдохновенно импровизировал я. – Филипп будет секретарь по внутренним делам, а я секретарь по внешним, иностранным, я отвечаю за связи с границей.

На том и порешили, весело посмеиваясь, но когда мы пришли в народный театр и нас троих посадили за длинный стол рядком, – Смоктуновского посередине, – и публика с близкого расстояния уставилась на нас восторженными глазами, крестный неожиданно для меня сказал следующее:

– Дорогие друзья, разрешите представить вам моих спутников. Вот слева сидит мой сын Филипп, студент театрального института...

Вот оно как! Сына не захотел «сдавать», а вот как он обойдется со мной?

– Справа от меня мой личный секретарь, друг и сват и кум Син Пен-Хва! – и лукаво скопил на меня глаза.

От неожиданности я глупо захохотал, но спохватился, взял себя в руки и, полуобернувшись к Смоктуновскому, громко захлопал ещё не разогревшимися с мороза холодными ладонями. Публика с энтузиазмом подхватила мои аплодисменты. А когда Иннокентий Михайлович закончил свое недолгое импровизированное выступление, – и предложил вопросы из зала, сидевший в первом ряду молодой человек, корреспондент местной газеты (как он представился) спросил:

– Можно, я задам вопрос вашему секретарю?

– Задавайте, если вам нечего спросить у меня, – широким жестом указывая в мою сторону, произнес, «кувыркаясь», Смоктуновский. В зале прошел смешок.

– Нет, это я... Это мне, – начал, покраснев, смутившийся корреспондент. – Нам стало известно, что у вас скоро выходит книга... Так я хотел узнать, когда выйдет книга...

И тут Смоктуновский, немного растерявшись и чуть даже подскочив на месте, всплеснул своими длинными руками и воскликнул:

– Друзья мои! Я забыл сказать, что мой друг секретарь и сват и кум Син Пен-Хва не только мой секретарь, но и великий русский писатель Анатолий Ким!

Тут уж я расхохотался так, что чуть со стула не слетел, и публика, заразившись от меня, тоже захохотала. Не знаю, правда, отчего... А я, наклонившись к крестному, прокричал ему в ухо:

– Ну, вы даёте! Если у вас в секретарях великий русский писатель, то кто тогда вы сами? Гений из гениев?

– Ну да, гений! – не моргнув глазом, парировал Смоктуновский, весело глядя на меня.

И тогда я громко ответил корреспонденту:

– Да, великий Иннокентий Смоктуновский не только гениальный актёр, но и талантливый писатель. И у него через два месяца в издательстве «Искусство» выходит его первая книга...

Только тут Иннокентий Михайлович сообразил, что произошел некий прокол, когда он «кувыркался». У него и на самом деле должна была выйти его первая книга под названием «Время надежд», рукопись которой помогал выправить ему я. Книга и вышла вскоре, но издатели назвали её, всё же, побанальнее, спокойнее: «Время надежд». После смерти Смоктуновского она переиздавалась с моим предисловием в 1999 году, под названием «Быть!» – в самом конце прошлого тысячелетия.

Он ушел незадолго до Миллениума–2000. И он не знал про одиннадцатое сентября 2001 года. Его душа покинула земной мир, в котором я все еще пребываю, и по возрасту я уже старше своего крестного. Но остались после него неисчислимы виртуальные клоны, и когда вижу на экране телевизора кого-нибудь из них, я с радостным сердцем приветствую: «Здравствуй, крёстный». И то, что он был гением, как и многие другие люди на земле, стало для меня фактом очевидным и ничуть не волнует меня. Также не волнует и то, что и я как писатель стал, по мнению некоторых моих преданных почитателей, тоже гениальным. Я с грустью вспоминаю, как Смоктуновский то ли в шутку, то ли всерьёз говорил: «Я гений». Мне грустно от того, что всякая гениальность в нашем земном человеческом мире, – в том числе и его, и моя собственная – выглядит столь жалко, грустно, убийственно беспомощно.

Но я с удовольствием и в большом веселье души вспоминаю о наших встречах – пока он был жив, пока я был жив, и пока я ещё жив – и все самые маленькие черточки и детали в картинах воспоминаний о моем крёстном представляют для меня ценность неизмеримую, сладость неизъяснимую.

Чем больше я убеждаюсь, глядя на его работы, в подлинности этого гения, тем понятнее для меня и дороже все проявления его человеческих достоинств и слабостей, которые пришлось наблюдать за ним. Они суть такие же, как плюсы и минусы любого характера – гения или не гения на земле. Однако жизненные проявления характера Смоктуновского-бессмертного, были выше обычных слабостей и намного сложнее добродетелей человеческих.

Вот он любил своего сына Филиппа, моего крёстного брата, но тот приносил отцу много огорчений и страданий, за что родитель свирепо ругал своего отпрыска. Пусть простит меня Филипп, мой крёстный брат, за то, что рассказываю сейчас.

Однажды, Иннокентий Михайлович зашел ко мне очень удрученный, долго не заговаривал о том, с чем пришел. Затем начал издала:

– Вы знаете, Филипп хороший мальчик, добрый, мягкий, отзывчивый. И очень талантливый. Когда был еще маленький, участвовал в школьном спектакле, ему по роли надо было размахивать флагом. Он потом спрашивал, как получилось? – мол, только я начал размахивать флагом, так всё вокруг исчезло, и я не помню, что было дальше. Наверное, это было вдохновение? – спрашивал... У него талант, несомненно. Но он слабый, Толя, у него нет воли... Одним словом, я прошу помочь мне... Из-за границы я привозил много дорогих пластинок. Я вас прошу, Толя, спрячьте здесь у себя кое-что, и если придет Филипп и спросит, не приносил ли я пластинки, скажите что нет, ничего не знаете...

Я попал в очень затруднительное положение. То что он просил, было так понятно... Однако, я не дал согласия, хотя и не отказал.

– Вещи я возьму и спрячу, но если Филипп придет ко мне и спросит, у меня ли они, я не смогу сказать, что не у меня.

– Почему? Вы так честны, что не сможете сказать маленькую ложь, ради меня?

– Иннокентий Михайлович, ради вас я готов сделать что угодно на свете... Но перед Филиппом не могу... Вы нас крестили вместе. Он мой крестный брат.

– Но он мой сын! И я прошу вас сделать это для него же!

– Я могу не отдавать пластинки... Но если он спросит, не у меня ли они спрятаны, сказать «нет» не смогу, Иннокентий Михайлович. Простите меня.

– Бог простит. Ну ладно, если бы я знал, что вы откажете, не стал бы обращаться к вам, Толя. Неловко получилось. Но я никак не ожидал...

Он молча посидел минуту, мерно покачивая ногой, закинутой на другую ногу. Потом надул губы, шумно выпустил воздух сквозь них, встал и вышел, кивнув на прощанье головой. А я остался сидеть, испытывая гадкое чувство стыда – стыда за поступок, который совершил вроде бы по совести, а оказалось, что поступил бессовестно, явил черную неблагодарность к

своему судьбоносному благодетелю. Но взяв вину и грех на душу, я и по сей день не представляю себе, что мог бы поступить по-другому.

Об отношениях отца и сына, сложившихся между ними по воле рока, я не хочу и не смею судить, да и не знаю об этом в достаточной мере, но по прошествии большого времени знакомства с этой семьей, я могу без преувеличения сказать, что они суть высокая драма, даже трагедия шекспировского уровня. Поразительным образом, эти отношения косвенно отразились в сценах между Герцогом и Скупым Рыцарем в маленьких трагедиях Пушкина, постановка Михаила Швейцера. Герцога играет Филипп Смоктуновский, барона Иннокентий Смоктуновский. Хочу сказать, что в этой единственной большой, насколько я знаю, роли сын предстал на художественном уровне, равном своему знаменитому отцу. Филипп, мой крестный брат, по моему мнению, высоко одаренный человек, и бесконечно жаль, что почему-то его актерская судьба не сложилась... В фильме поражают глаза обоих артистов, их взгляды, которые обращаются друг к другу по ходу действия. В этих глазах, в их взглядах выразилось столько отцовской тревожной страсти к сыну и такая нежная, великая, несказанная любовь сына к отцу... Я говорю не о любви персонажей трагедии – по сюжету они не были в родстве – я говорю о подлинной, великой, непростой любви отца и сына Смоктуновских, которая осталась для мира неизвестной, но была выказана глазами этих актеров в небольшой сцене пушкинской трагедии.

Через некоторое время я все же был прощен, и Смоктуновский по-прежнему заходил ко мне, когда он бывал у своих, тещи и тестя Горшманов. Как и раньше, приглашал меня к себе в гости по праздникам, дарил контрамарки на спектакли со своим участием в Малом театре, в МХАТе. И я мог снова и снова, видеть проявления истинной гениальности этого человека в высоком артистическом деле, – а также видеть его в житейских проявлениях, где ничего «гениального» не было.

Как-то во время визита к родным Иннокентий Михайлович с женой Суламифью и дочерью Машей зашел на недолгое время ко мне, я хотел угостить их какими-то корейскими блюдами, до которых знаменитая семья была охоча. Это я их приучил, разумеется, а моя жена Зоя отменно готовила корейскую еду. И я всегда от души радовался, когда удавалось вкусно накормить знаменитую семью. Но на этот раз вышло все по-другому: Смоктуновские поблагодарили и отказались от нашего угощения. Сам Иннокентий Михайлович объявил, что они все перешли на сыроедение по методу какого-то знаменитого иранского профессора. Как я понял из пространной лекции Смоктуновского, метод этот был проявлением самого строгого вида вегетарианства, когда не только никакого мяса, но и ничего вареного нельзя было есть! Мясо нельзя было потому, что во время убиения животного в его плоти от мучений, шока, страха и, главное, безысходного протеста и ненависти к убийцам вырабатывается страшный яд, который медленно убивает мясоеда – свершается праведная месть поедаемых травоядных. А последние, как известно, никогда не варят, не пекут в огне свою травяную, фруктовую, ореховую, корнеплодную еду! Поэтому всегда здоровы, красивы, энергичны: олени, горные муфлоны, буйволы и так далее. Иранский профессор и всех нас призывал следовать примеру природных вегетарианцев. Надо брать на рынке зелень, орехи, изюм, курагу, свежие фрукты всех видов и есть их сырыми, лишь помыв чистой родниковой водой. Ею же и только ею – природной некипяченой водой, и запивать хорошо прожеванную растительную массу.

И тогда человек может прожить весь свой биологический ресурс без болезней и спокойно выйдет на рубеж столетия. Так и сказал мой крестный: сто лет проживете без всяких проблем и старости не будете знать... Признаться, мне тут же захотелось последовать примеру крестного, об этом я и сказал своей жене. Но кроткая моя жена только молча посмотрела на меня, потом пошла на кухню готовить любимое мое блюдо – «хе» из сырой говядины. И я тут же был опрокинут, смят в первую же минуту битвы за столетнее существование, к которому призывал Смоктуновский, для чего и заходил ко мне.

Битва же Смоктуновского продлилась, наверное, около месяца. Может быть, чуть больше, может покороче. Летом это началось, лето еще не кончилось, когда мы снова встретились – у Ширы Григорьевны. Вид у крестного был плачевный. Ни проблеска жизненной радости не было на его лице. Он тяжело вздыхал и, ссутулившись, сидел за кухонным столом тещи. Перед ним стояли три чашки. В одной была оранжевая курага, в другой темно-синий изюм, в третьей – очищенные мозги грецкого ореха. Крестный внимательно смотрел на весь этот великолепный продукт, дары солнечного Узбекистана, не столь отдаленного от солнечного же древнего Ирана, где проживал великий ученый, чудесный маг натурального сыродоения. Но, видимо, маг и просветитель Смоктуновского не принес ему большого счастья. Тогда я, движимый великой жалостью к крестному, от всей души, безо всякой подспудной подлости и без злорадаства осмелился предложить ему: «Может быть, пойдете ко мне? Есть чем вас угостить». Он встрепенулся, поднял на меня глаза – о, какой же это был взгляд, сильный, осмысленный, глубочайший, почти такой же, как в «Гамлете», в сцене с флейтой: «На мне играть нельзя-а-а!» – казалось, произнесет сейчас он, и я буду уничтожен на месте, как Гильденстерн и Розенкранц – вместе взятые. Однако крестный сказал нечто совсем другое. Кротким голосом он молвил: «Ну, хорошо... Пойдете». И тут в кухне появилась Суламифь. «Как тебе не стыдно, Кеша!» – прозвучал ее резковатый, чуть в нос, волевой голос. – А вы, Толя, как вам не стыдно соблазнять слабого человека!» – и так далее. Смоктуновский не смотрел на жену, отворачивал от нее лицо и что-то бормотал, – совсем как Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля»... Словом, он пошел со мной, и я на славу угостил любимым его блюдом – корейской лапшой «куксу», в заправке которой были тонко нарезанные ломтики мяса, яичная крошка и свежая огуречная зелень, настроганная нежными пахучими кружочками. Он сидел у меня за столом, наворачивал большую чашу куксу и отнюдь не выглядел несчастным... Было и такое.

Были и другие дела. Мне через многие и многие годы нищеты и безнадежности наконец-то, с легкой руки Смоктуновского, стало везти, печатали почти все толстые журналы, стали выходить книги. И пришла пора первоначального накопления капитала – выпало немного денег за переиздание моих произведений. И я сразу же решил приобретать автомобиль, ибо добираться до своей деревни Немятово прежним способом – на автобусах, затем местными попутками стало уже невозможным. Я мечтал о вездеходе-внедорожнике, который мог бы преодолевать жуткие грязи мещерских дорог. И вот, о везение! – такая возможность появилась! Некий директор одного московского совхоза, мой знакомец, соплеменник-кореец, предложил мне за бесценок взять у него списанный «Газик», маленький вездеход, – но не с брезентовым верхом, а с наваренным самодельно металлическим верхом!

Это был уникальный вариант счастья, – но всплыл один роковой момент, который стал на пути к этому счастью. Дело в том, что в ту пору советской жизни вездеходы-внедорожники стояли на особом учете, и в случае военного положения подлежали мобилизации. И чтобы купить такой вездеход или продать его, нужно было получить специальное разрешение в одном военном ведомстве. А получить такое разрешение или добиться аудиенции у начальства было мне, ничтожному, совершенно невозможно. И я, мелкий негодяй, обратился к Гению с просьбой пойти со мной в военное ведомство к какому-то майору Прохоренко и молвить за меня словечко. Выслушав меня, крестный только вздохнул и, нацепив какие-то ордена на пиджак, отправился «покувыркаться». Случай этот тем более неблагоприятный с моей стороны, что я, с помощью Смоктуновского получив разрешение от начальства, почему-то не воспользовался им, и вездеход этот, ГАЗ-69, так и не был куплен мной.

Когда же я купил свою первую машину – по его совету, – советский внедорожник «Ниву», Иннокентий Михайлович давал мне уроки практической езды, и вот как это выглядело. Сидя рядом на переднем сидении, он наставлял:

– Учтите, Толя, наши машины такие слабенькие, не скоростные – никогда не разгоняйтесь. Не выходите на скорость выше предписанного, на трассе и в городе.

В городе ваша полоса – вторая, держитесь на шестидесяти километрах, и не надо больше! Вам будут гудеть, обгонять вас и смотреть на вас с презрением, не обращайтесь внимания. Но тот, кто понимает правильную езду, будет только уважать вас. Будет ехать сзади и думать: вот парень ездит грамотно, молодчина!

Однажды он высказал мне комплимент, при воспоминании о котором до сих пор, чувствую, как краснею от удовольствия. Мы по бульварам подъезжали к улице Горького, и перед самой Пушкинской площадью загорелся красный светофор. Я вовремя заметил и затормозил, постаравшись сделать это как можно мягче, ведь я же вез крестного! И он похвалил:

– Замечательно, Толя! Как роскошно вы тормозите!

О, было чем мне гордиться!

Летним чудным днем мы отправились со своими детьми на прогулку через берёзовый лес у Рублёвского шоссе. За лесом был Серебряный бор, но с другого берега Москвы-реки, не со стороны знаменитого городского пляжа. Рублёвский лес был тогда свободен для прохода, вольготно стояли старые рослые берёзы, зеленые пролеты леса далеко просматривались. В этом лесу я зимой и летом прогуливал свою собаку Орлана, высокородного зверового принца из рода западносибирских лаек. Мы с ним часто гоняли белок, натыкались на взрослых лосей – ходили они тогда по Рублевскому лесу. В оврагах мы даже натыкались на кабанов. Тогда не было там, вдоль Рублевки, никаких четырёхметровых заборов, отгораживающих дворцы новорусских богачей, и от шоссе до самого Серебряного Бора, до Москвы-реки, можно было пройти пешком за какой-то час.

Мы шли с девочками – Машей и Диной, моей было лет пять, Маша чуть постарше. Было радостно и светло идти по чистому от подлеска зеленому изволоку плавного бугра, постепенно продвигаясь к реке. Дети наши, как и всякие дети на свете, неутомимо бегали под огромными белыми берёзами. Иннокентий Михайлович подходит к ним и, запрокинув голову, с восхищенным видом разглядывает вершины, тихо раскачивающиеся и негромко ропчущие листвою в вышине под ветром.

– Ах вы миленькие! Славные! Какие же вы красивые! – бормотал он, и улыбка у него на лице была вполне счастливой.

Мы добрались до реки, устроились на высоком бережку, расстелив одеяла на траве и усадив на них девочек. Только мы сами разделись, собирались окунуться в воду – как случилось что-то непредвиденное. Совершенно неожиданно среди ясного солнечного дня стремительно налетела гроза с молниями и громом. Полил обвальным холодный ливень, быстро перешедший в довольно крупный град. Мы завернули детей в одеяла с головой и усадили на землю на корточки. Сами, мокрые, встали над ними, совершенно растерянные и беспомощные. И вдруг я увидел, как возле детишек на земле поползли рукава дождевых ручейков, неся на себе бумажки, травяную труху. Иннокентий Михайлович с мокрыми, прилипшими к лицу волосами, в мокрой расстегнутой рубахе, начал ходить взад-вперёд возле детей и, сложив руки на груди, поднял лицо к небу, стал молиться: «Господи, помоги! Господи помоги!»

И тогда я вспомнил, что не очень далеко расположена некая автобаза, и предложил Смоктуновскому: «Хватайте детей за руки и к автобазе!» Мы так и сделали – и вскоре с мокрыми испуганными замерзшими детьми забежали в будку проходной автобазы. Там женщины разохались, перехватили у нас детей, раздели и начали осушать полотенцами. Нам со Смоктуновским выдали старые ватные телогрейки, и мы, скинув мокрые рубахи, живо влезли в замасленные сухие ватники. Не знаю, как выглядел я, но Гений смотрелся весьма экзотично в мокрых подвернутых штанах, из-под которых торчали жилистые босые ноги с тонкими щиколотками, в просторной распахнутой телогрейке, из которой проглядывала худая волосатая грудь.

Собрался вскоре народ, артиста, видимо, узнали. Женщины, молодые и не очень, смотрели на него восторженными глазами. Мужики смотрели более сдержанно, но один из них,

здоровенный работяга в спецовке, подошел к нему и с игривым выражением на лице слегка толкнул его в плечо своим плечом, и спросил:

– Деточкин, что ли?

– Да, да! Я Смоктуновский! – обрадовано произнес он и тут же, без паузы, торопливо выпалил:

– А нельзя ли машину достать?

– А чего нельзя? Можно. Сейчас такси вызовем.

И вскоре мы, одетые в высушенные рубахи, девочки в сухих платьицах – где-то быстро выпарили нашу одежду – садились в машину с зеленым глазком на переднем стекле, а толпа народу, собравшаяся провожать нас, обступила ее с двух сторон. Собираясь сесть в машину, Смоктуновский, уже поставив одну ногу в салон, замахал обеими руками над головой и провозгласил торжественным голосом:

– До свидания, друзья! До свидания! Спасибо за всё!

И действительно, казалось, что он прощается с лучшими друзьями, у которых славно погостил. А я смотрел на эту сценку, испытывая смешанное чувство умиления, что Гений так запросто общается с простым народом, и досадой, что он делает это излишне театрально, не совсем искренне – «кувыркается» не к месту, словом...

А ведь народ его любил... Любил и не любил. Я знал его фанатических поклонников и среди самой рафинированной творческой интеллигенции, и среди так называемого простого народа, не имеющего к так называемому творчеству никакого отношения. Знал среди «интеллигентов» и лютых (почему-то!) ненавистников Смоктуновского, а среди «простых» – беспредельно, почти религиозно приверженных к нему фанатов.

Вот рассказ об одном из них, вернее – одной из них. Была такая девушка из приволжского города Хвалынска, которая бросила мужа и приехала в Москву только затем, чтобы иметь возможность увидеть его живого, не экранного. Никаких изначальных особенных надежд у нее не было, она просто хотела живым лицезреть свое божество и убедиться, что оно реально ходит по земле. В Москву из Хвалынска она приехала уже подготовленная, довольно образованная в «смоктуноведении». Она и просветила меня, что по всему Союзу ССР созданы и существуют подразделения «секты смоктунов». Это такие общества фанатов Смоктуновского, отделения которых действовали в Москве, Ленинграде, в Киеве. Фанаты переписывались, обменивались материалами, устраивали фестивали. Назовём её, скажем, Анна, приехала в столицу с небольшой папкой, наполненной материалами «смоктуноведения»: фотографиями с его автографами, вырезками из газет и журналов, где были рецензии, интервью, статьи самого кумира. Анна пошла работать на стройку, чтобы получить временную прописку лимитчицы в Москве, жила в общежитии. Через некоторое время устроилась дворником в ЖЭК, получила служебную комнату в полуподвале. И наконец, в апофеозе своей подвижнической деятельности, Анна устроилась уборщицей на «Мосфильм», – и это для того лишь, чтобы как-нибудь увидеть Смоктуновского, проходящего по длинному коридору киностудии, и поздороваться с ним: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович». Он вежливо, с широкой смоктуновской улыбкой отвечал ей и проходил мимо. Так продолжалось много лет, Анна постарела, подурнела, потеряла все зубы, осталась однаодинёшенька, зато вся ее дворницкая комната в полуподвале, все стены были тесно залеплены его фотографиями, портретами с автографом. Их у Анны набралось тысячи... И за много лет всякого печатного материала у нее накопилось несколько солидных папок. Все они были пронумерованы и рассортированы по жанрам – интервью, рецензии, его воспоминания, собственные статьи... Вот такая история.

В воспоминаниях «Три ступеньки вниз», текст которых я подготавливал к печати, есть такое место: «Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки, или читаю полные тревоги письма с просьбой совета – как попасть на сцену, стать артистом, – я знаю наверное, что все это было, было, что

это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего хотел... И единственным советом... в этом прекрасном, но тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда и Любовь».

Однажды после его приглашения на спектакль «Царь Федор Иоаннович» я подошел к служебному входу Малого Театра, куда он вынес мне контрамарку. Когда он передавал билет, откуда-то сбоку подошла девушка, миловидная, молоденькая, по неуловимым признакам явно провинциалка, вся трепещущая от волнения – и безмолвно протянула Смоктуновскому три алые розочки. Она была небольшого роста, Иннокентий Михайлович буквально навис над нею, когда, принимая от нее двумя руками протянутые цветы, говорил вздрагивающим от волнения голосом:

– Милая! Хорошая! Ну, зачем вы это делаете! Ведь я вижу вас не впервой, заметил давно! Цветы нынче такие дорогие! Зачем тратитесь, милая...

Было в его голосе столько искреннего чувства, столько сердца, такое понимание безнадежного устремления юной души к своей безнадежной любви и мечте, что мне, постороннему, стало не по себе...

Но были люди и другого порядка, ярые ненавистники Смоктуновского. Один из них, некто Г-в, мой однокорытник по Литинституту, просто сотрясался в мелкой дрожи от ненависти, когда при нем речь заходила о Смоктуновском. А парень он был весьма толстый, рыхлый, с пузиком и вторым подбородком, и всё это довольно неприглядно дрыгалось из стороны в сторону, когда он, не сдержав сердца, вскакивал с места и начинал изображать какую-то несуществующую походку ненавистного артиста, подсаживаясь то на одну ногу, то на другую, приговаривая при этом:

– Христосик... Христосик...

Не знаю, чем не угодил бедняге Г-ву мой крестный, но ненависть Г-ва к артисту была велика, и она смахивала на желание свести с Гением какие-то личные счёты. Хотя какие личные счёты могут быть между карликом и титаном? Между рабом и Царем?

Мой Добрый Царь. Так я стал называть его после спектакля в Малом театре, когда мне удалось наконец-то посмотреть «Царя Федора Иоанновича».

Голос, четкая дикция, неразмеренные, торопливо догоняющие друг друга, но всегда внятные периоды речи, фигура и осанка – все это было мне известно, дорого, я уже давно знал актера и человека Смоктуновского. Но вот появился на сцене Царь в длинном плаще, в ботфортах. И я совершенно забыл о том, что еще накануне днем вместе с этим человеком гулял по березовому лесу, и с нами были наши девочки-дочурки...

Царь хромал, его ушибла лошадь. Опираясь на жену-царицу, он шутил, разговаривал с Борисом Годуновым, потом ушел обедать... Ушел, но осталось после него впечатление, – по тому, как он опирался, тяжело наваливаясь, на царицу, как расслабленно двигался, – что Царь слаб духом и плотью, возможно, чем-то болен. И тайный телесный недуг будет неумолимо вершить свое дело, и вполне разумная жестокость, затаившаяся вокруг него, погубит доброго Царя.

Ощущение надвигающейся беды, трагическое подсознание пробудились во мне, глухая тревога не отпускала сердце. В антракте я пошел курить, нечаянно взглянул в зеркало – и на фоне дымной полумглы курительной увидел свое несчастное лицо. Я поправил галстук и скорее пошел в зал, чтобы дальше мучиться в тревоге, и в этой тревоге за человека ощутить самое сокровенное своей собственной души.

Финал пьесы как финал любой судьбы. Человек рухнул у нас на глазах, его подрубили. С ним вместе пала на землю и была растоптана прекрасная, но беззащитная доброта. Однако сама гибель, отчаянное и беспомощное поражение его породило из огня и пепла катарсиса

чудную силу в наших душах. Мы постигаем свою сущность божественных творений благодаря наличию в душе этой силы – доброты.

Мы, его современники, в течение многих лет могли наблюдать, как зарождалась и утверждалась его династия. Мы, имя которому легион, слышали, видели этих всегда странноватых, разноликих, но с яркими фамильными чертами представителей династии. Вот имена, вернее, гражданские псевдонимы некоторых из них: Илья Куликов, Лев Мышкин, Гамлет, Деточкин, Чайковский, чеховский Иванов... Необычный царствующий дом безграничного, в сущности, государства, граждане которого именуются зрителями.

Всякая ветвь человеческая, лелеемая в первозданной чистоте, обладает своими собственными качествами, родимыми пятнами, своеобразием стати или причудами души. Потомкам нашего Царя также были свойственны неповторимые признаки рода: своевольная пластика движений, чуждая театральная поза, и голос, говор то замедленный, затухающий, то взволнованно скоропалительный, и особая физиономия чувства, выраженная игрою лица и, главное, безмолвным языком поразительных мечущихся глаз.

Я ставлю царя Федора Иоанновича во главе династии не по хронологии и не по ранжиру творческого уровня созданных артистом художественных образов на сцене и на киноэкране. Я отношу Царя к корню генеалогического древа всей Смоктуниады потому, что в этом его образе явлены самые яркие признаки рода. Основой их является доброта человеческая.

«Моего Гамлета во многих рецензиях называют добрым Гамлетом (*разр. Смоктуновского*), – пишет он сам, – это, мне кажется, справедливо... Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение».

Таковыми были не только Гамлет, но и князь Мышкин, и Деточкин, и Чайковский – добрые, страдающие в этом мире через свою доброту, но вдруг приходящие в ярость... и опадающие, никнувшие в печали и философской отрешенности.

Но царь Федор в исполнении Смоктуновского открывает нечто большее, чем каноническая христианская кротость. В этом образе предстает человек, в котором содержится космическое, вселенское начало доброты. То начало, что проявилось в человеке и через человека как знак его Божественного происхождения. Это обнаружилось в людях гораздо раньше христианства – раньше всяких религий, установленных нравственных гуманистических норм и законов. Великий актер и великий человек – Иннокентий Смоктуновский своим творчеством показал, что доброта была заложена в человеке – она была запрограммирована Творцом как фундаментальная основа нашей духовной эволюции.

И тайна необычайного воздействия на современников, тайна его царской власти над зрительскими душами заключается в том, что все лучшие образы не только раскрывают доброту как движение и устремление человека, но постоянно, в каждом мгновении своего эстетического бытия пребывают в ней, выказывая его пластическую, музыкальную, психологическую конкретную сущность.

Все мучения, даже гибель носителей этой доброты не проходят для нас бесследно. Кажется, примеры их поражений и падений чем-то даже увеличивает нашу собственную сопротивляемость, нашу решимость противостоять злу. Таковы для нас уроки катарсиса, усвоенные через трагедии князя Мышкина, принца Гамлета, царя Федора.

Посмотрев «Царя Федора Иоанновича», я, потрясенный, вернулся домой и всю ночь до утра не спал, писал статью об увиденном театральном шедевре, о великой роли, сыгранной Смоктуновским. Статью эту вскоре напечатали в одном из «нетолстых» литературных журналов, главным редактором которого был некто из амбициозных писателей-чиновников, были такие в советские времена. Я был этой статьей доволен, те, что читали, тоже были довольны, но вдруг редактор-писатель вызывает меня к себе и предлагает, чтобы я привел к нему Смоктуновского. Для чего? А для того, чтобы он пришел в редакцию и выразил свое большое удовле-

творение тем, что статья появилась в журнале. Но зачем это Смоктуновскому – выражать свое удовлетворение? И тогда редактор раскрыл карты: из ЦК Комсомола последовал звонок, там почему-то сильно недовольны статьей. Но все же – причем тут Смоктуновский? А оказалось, что если он самолично придет в журнал и скажет, что очень доволен статьей, об этом можно доложить на самый верх ЦК ВЛКСМ, – тем самым журнал сумеет избежать неприятностей... Мне пришлось рассказать об этом крестному. Он только вздохнул, – все понимая, посадил меня в машину и поехал «кувыркаться» в журнал... Но редактор, этот природный конъюнктурщик и трус, одновременно самый отважный боец за каждый новый властный режим, установившийся в стране, чудовищно унизил меня и, главное, унизил моего великого крестного! Сидя за своим редакторским громадным столом, он даже не оторвал свой конъюнктурный зад от редакторского кресла и лишь величественным движением руки показал на стул перед собой: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович! По какому случаю к нам?» Мне нужно было бы тут же пристрелить его на месте из пистолета, но, к сожалению, я забыл дома пистолет. Добившись необходимого прецедента, позволяющего ему доложить наверх, что сам Смоктуновский, Герой соцтруда и Лауреат был у него и благодарил за статью, писатель-чиновник-редактор даже чаю не предложил Смоктуновскому.

А теперь об очень важном для меня. Дело в том, что я его совершенно не узнавал – так сказать, физически и психологически, – когда он готовился к новой роли и заранее глубоко погружался в эту роль, перевоплощался в героя. Перемены во внешности, в поведении, походке и даже росте были разительными – все это изменялось в нем, и я не узнал Смоктуновского.

Вот однажды, я зашел к соседу Горшману, и говорил с ним о чем-то, стоя в узенькой, метр шириною, проходной на кухню. Из комнаты вышел и направился туда какой-то лысый, толстый человек в розовой рубашке навыпуск. Не понравилось мне одутловатое, закрытое, отчужденное лицо этого человека, глаза не понравились, жесткие, неприятные. Ко всему этому он, проходя мимо нас с Менделем Хаимовичем, бесцеремонно толкнул меня корпусом и, как-то некрасиво, не по-мужски оттопыривая зад, унёс его в кухню. Я, стараясь не выдавать голосом свою неприязнь к незнакомому гостю соседа, спросил у него: «Кто это у вас?!» Мендель Хаимович на это ответил сначала удивленным взглядом своих черных глаз, потом молвил: «Вы что, Кешу не узнали?»

Да, Кешу я не узнал, и это потому, что он тогда готовился сразу к двум ролям в кино – Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и эпизодического Гения из «Живого трупа». В обеих этих ролях я узнал того самого неприятного типа в квартире Горшманов, который толкнул меня в тесном коридорчике, проходя на кухню. А в кинофильме «Преступление и наказание» я услышал, что Порфиша страдает геморроем и походка, стало быть, у него оттого и специфическая. В «Живом трупе» эпизодический персонаж из кошмара Федора приближен к дьявольскому образу и оттого метафизически неприятен. Словом, фактурно – по внешности – два образа были похожи, актёр перевоплотился в малоприятного на вид одутловатого человека с вывернутыми губами. И буквально столкнувшись с ним в проходе на кухню у Горшманов, я совершенно не узнал в нем крестного.

В том и заключалось свойство Смоктуновского-актёра – умение настолько перевоплощаться в образ, растворяться в нем, что совершенно исчезал куда-то облик самого Смоктуновского, его человеческий оригинал.

Как-то я шел по дорожке от дома к метро Молодёжная, недалеко от которого и находился квартал «хрущёвок» и наш дом по Академика Павлова. Дорожка была извилистой, входила в купу деревьев, и вот оттуда, из аллеики, появился навстречу высокий человек. У него была летящая походка, как бы устремлённая ввысь, он был бородат, крупно-курчав, очень красив. Сблизившись со мной и проходя мимо, он неожиданно откровенно нагло выставил локоть и довольно сильно толкнул меня в бок. Я живо обернулся, мгновенно рассвирепев, и раскрыл

рот, чтобы достойно по-русски обложить этого интеллигентного с виду человека, который схамил, чувствуя себя, видимо, намного статуснее меня, неважно одетого нацмена азиатского обличия. Но я ничего не успел произнести, потому что услышал знакомый голос с любимыми, дорогими для меня звучными модуляциями:

– Что это вы, Толя, не хотите со мной здороваться? Что случилось, я вас чем-то обидел?

Передо мной стоял Смоктуновский, в прекрасном костюме, с галстуком, прищурившись, хитро улыбался. Он решил, видимо, «покувыркаться». Вид у него был торжествующий. Ему было приятно, должно быть, что он так хорошо «спрятался» за свою новую личину. Он тогда готовил роль Чайковского в одноименном фильме. А я мгновенно проникся догадкой, в чём суть его гениальности как актёра...

Никакого ведь у него особенного театрального образования не было – только год на каких-то «актерских курсах» в студии послевоенного Красноярского театра. Не усваивал он в упорных сценических тренингах ни системы Станиславского, ни школы Михаила Чехова. А просто он, как говорил мне, на войне не раз смотрел в лицо смерти. И заглядывая в ее тёмные глаза, – именно в то мгновение, – молодой сибирский паренёк, длинный, худой, синеглазый, обретал навыки переселения в иные души. Смертельная угроза и смертная мгла, наваливаясь на человеческую душу, подвигают ее к реинкарнации и метаморфозам. При готовности перехода в другое состояние, у порога смерти, душа и обретает возможность преображения. Способность полного духовного перевоплощения и есть свойство гениальности. Она в том, что, будучи живой, душа преодолевает порог смерти и восходит к бессмертию. И человек-гений обретает безграничную творческую свободу, – состояние существования души без смерти. Потому и – бессмертие.

Но любой Гений – человек, а человек смертен. Умер и Христос, в которого Смоктуновский верил, «как тёмная деревенская бабка», по словам моего крестителя, отца Владимира Рожкова. Не знаю, какова была у крестного воцерковлённая жизнь, но я видел и чувствовал, что верует он глубоко, беззаветно и благодарно. Он не раз говорил, что в самых страшных смертельных обстоятельствах чудовищной войны, в которой ему пришлось участвовать с семнадцати лет окопным солдатом, командиром отделения автоматчиков, – за все годы фронта он ни разу не был серьёзно ранен. Он смиренно и просто и без всякого мистического пафоса говорил, что его берегла высшая сила.

Иннокентий Михайлович однажды пригласил меня на первую репетицию в театре (не помню уже, в каком), где ему предложили поставить «Царя Федора Иоанновича». И вот, набрав труппу, он созвал актеров на первую установочную встречу. Почему он меня пригласил, я не знаю, потому что в театральном мире я ещё был никто, пьесы мои должны были появиться на свет нескоро, а до постановки их на театре, стало быть, было мифически далеко. Смоктуновский серьёзно решил попробовать себя в режиссуре и в труппу спектакля собрал хороших актеров. И вот первая встреча – она продлилась совсем недолго. Смоктуновский начал с того, что спросил, знают ли актёры и актрисы «Отче наш». Коллектив, как говорится, замер на продолжительное время в почтительном молчании. Тогда Смоктуновский, словно в своей роли на Малом театре, пристально обвёл испытующим, напряженным взглядом царя Федора лица окружающих его актеров. Напряженное молчание затягивалось. И он обратился к одному, не старому еще актеру В.:

– Вот вы, скажите, пожалуйста, знаете «Отче наш»?

Молчание. Отрешенный, очень сложный, ускользающий в сторону взгляд темных красивых глаз артиста В... И тогда Иннокентий Михайлович объявляет:

– Ну, друзья мои, на сегодня всё. К следующей встрече я всех прошу выучить «Отче наш», просьба разумеется к тем, кто ее не знает. Вы хотите участвовать в пьесе, которая является истинно христианской, как вы сможете играть в ней, не зная этой молитвы?

Не помню, были следующие встречи или нет, но я больше не устаивался быть приглашенным на них. Кажется, дело это – постановка Смоктуновским «Царя Федора Иоанновича» – так и не состоялось.

Однажды во время летнего деревенского проживания в Мещёре, в Немятово, я заразился отворотительной болезнью – опоясывающим лишаём. Это было так мучительно! Герпесные пузырьки выскочили на голове, шее, на пояснице, я от них криком кричал. Бедная моя жена Зоя ухаживала за мной с испуганным лицом, приносила еду на веранду, которую я построил своими руками и где лежал в одиночестве на мучительном одре болезни. Крестик, которым благословил меня мой крестный, я снял со своей уязвленной волдырями шеи и положил на деревянную табуретку у изголовья постели. И вот однажды крест куда-то бесследно исчез. Никто, кроме жены, ко мне на веранду не входил. Крестик был самый дешёвый, оловянный, на простом шнуручке, который когда-то мой крестный вддел в его ушко, озабоченно оттопырив нижнюю губу, нацеливаясь сквозь стёкла старушечьих очков...

Слав Богу, благодаря слёзным ночным молитвам я вылечился от этого жуткого недуга. Когда осенью вернулся в Москву, и мы встретились с Иннокентием Михайловичем, он ошарашил меня следующим признанием:

– Вы знаете, Толя, я потерял свой крестик. Купался, отплыл недалеко от берега, а когда вернулся, его не было на шее. Жаль, это был дорогой крестик, и цепочка золотая...

Я ему сообщил и о своей потере. Он ничего не высказал по поводу такого странного совпадения, я тоже не нашелся что сказать. Так до сих пор не могу разгадать, к чему было такое знамение для нас. Ни к какой мистической загадке я не хочу этот случай подводить, – я просто рассказал о том, что произошло.

А после произошло и многое другое, вдребезги развалилось могучее государство. Я своей рукой вдребезги разбил свою семью, пережил на одной поэтесе, уехал с нею в Корею. Там прожил четыре с половиной года, а когда вернулся в Москву, крестный умер...

Мой крестный умер в 1994 году, но он давно и всегда жил безсмертно, широко, вольготно, вне времени, потому я и встретил его совсем недавно, когда пересматривал кинофильм «Чайковский» по телевизору. И я поздоровался: «Здравствуй, крестный!» В этом фильме я узнал того самого красивого, возвышенного человека, который шел навстречу мне по дорожке к станции метро Молодёжная, и подшутил надо мной, и невинно торжествовал по тому случаю, что я как последний простофиля попался на его розыгрыш. Помните, как «покувыркались», разыграли меня, Иннокентий Михайлович? Встреча с вами и пример всей вашей жизни открыли для меня философию безсмертия. Она была в том, что человек живет свой срок и умирает, но остается в вечности, потому что с ним навечно пребывает и то, что было в его до жизни, и то, что будет в его после жизни. Мой крестный Иннокентий Михайлович Смоктуновский пребывает сейчас в своем посмертном существовании, послежизни – намного значительнее, чем при жизни.

Конечно, это постоянный непрекращающийся подвиг, нелегкая работа – быть Гением, очень тяжёлый, опасный для души труд. Потому что каждый раз, проходя через полное перевоплощение, она, душа артиста подобного накала творческой страсти, должна пройти что-то вроде клинической смерти. Смоктуновский, художник того же титанического плана, как и Микеланджело, схватываясь с ролью, как последний с глыбой мрамора, не мог уже отойти от своей роли-глыбы ни на шаг, ни на миг. Пока постепенно, отсекая от собственного существа кусочек за кусочком, не превратит его наконец в Давида с пращой. Не отражается ли каким-то образом на физическом и психическом здоровье артиста искусство полного перевоплощения? Конечно, если роль прекрасна, возвышена, как роль Моцарта или Чайковского, если образ исполнен силы и энергии красоты, то перевоплощенная душа сама обретет эту силу

и энергию и облачается в светоносную ауру гармонии. Но если роль отягощена грязью алчности и наполнена чернотой удушливой злобы – Скупой рыцарь, Иудушка Головлев, Сальери – не отражается ли это на здоровье артиста, не деформирует ли в уродливую сторону его телесную и душевную сущность?

Мне однажды надо было почему-то обязательно встретиться с крестным, я созвонился с ним и приехал к нему на Суворовский бульвар. Нажимаю звонок, дверь распахивается, и на пороге появляется какая-то лохматая старуха в неряшливо запахнутом халате, с костлявыми голыми ногами, торчащими под коротким халатом. Она этими неприлично оголенными ногами в тапочках ещё и сучит на месте, перебирает ими, поджимая то одну, то другую. И смотрит на меня эта старуха как змея, неморгающими глазами, и как-то гаденько облизывает языком губы. Я сдержано спрашиваю у старухи, дома ли Иннокентий Михайлович – и тут он принимается хохотать, довольный тем, как удачно «покувыркался» передо мной. Он тогда начинал работать в МХАТе над Иудушкой Головлевым. Очень болезненная, неприятная роль, но абсолютно убедительная и достоверная. Болезненная мерзость русского характера, прячущегося в складках мантии сладкоречия и удушливой ласковости.

Но вот мы вошли в квартиру, и в прихожей на высоком застеленном бумагой ящике я увидел сидящую на месте и что-то усердно уплетающую, вовсю работая щеками, толстенькую морскую свинку. Смоктуновский нагнулся к ней и стал подкладывать кусочки нарезанного яблока, ласково приговаривая: «На, ешь, ешь, дурочка моя! Хрюня! Хрюнюшка славная!». И лицо его было отнюдь не то самое, что у давешней старухи-Иудушки – Иудушка Головлев вмиг исчез, улетучился с этого лица! Стоял передо мной уже не очень молодой, добрый, замечательный мой крестный в стареньком домашнем халате.

Не помню когда и при каких обстоятельствах он говорил мне, но я помню его голос, произносивший следующее: «Я могу на сцене повернуться спиной к зрителю и говорить шёпотом – и меня услышат. Перестанут дышать, замрут – и услышат. Я заставлю себя услышать, потому что, когда веду роль, я говорю из другого пространства, чем сценическое пространство. На фронте моя рота была окружена на какой-то мызе, мы отстреливались, но патроны кончились, и командир приказал мне ползком переползти по земле и, словно Гаврошу, собирать с убитых боеприпасы. Я пополз, приказ есть приказ. Я собирал патроны, пересыпал из подсумков убитых себе в вещмешок. И вот беру у одного, а он вдруг открывает глаза и смотрит на меня – уже *оттуда*. Его в этом перерубленном снарядом теле не было, тело было абсолютно мертвым. И только глаза смотрели на меня, но они были *там*! И потом, когда стал актером, я начал понимать, что любая роль, любой образ – существо не нашего мира. Этот персонаж, – если исторический, – уже давно умер и ушел из нашего мира, а если персонаж выдуманный, всё равно его нет, и не было его в нашем мире. Все, кого мы, лицедеи, изображаем, – они из *того* мира. Я это понял, и в этом моя актерская сила, с помощью которой я заставляю зрителей смотреть на меня как замороженных и слышать все, если даже я скажу это шёпотом. Я нахожусь в *том* мире и *оттуда* говорю им в самое ухо, обращаюсь напрямую в их душу.

В «Гамлете» принц Датский умирает, опустившись на каменный приступок скалы, откинув руку. Я нигде в другом фильме или на сцене не видел, как человек, всего за несколько минут до этого отважно сражавшийся за жизнь, умирает у меня на глазах – очень просто, без театральности, по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Только что сотрясаемый страстями, мучительно корчившийся от невыносимых душевных ран, – отравленный Гамлет сел на каменный уступ, откинул руку, уронил голову и мгновенно ушёл туда, откуда человеку возврата нет. Умер у меня на глазах по-живому.

Как умер сам Смоктуновский, я не знаю. Я ещё отработывал университетский контракт в Корее, куда уехал в девяносто первом окаянном году, в дни ГКЧП, а в августе девяносто четвертого вернулся на время каникул в Москву – и однажды узнал, что крестный умер. Не

помню, каким чудом мне удалось прорваться в Художественный театр, на сцене которого происходила гражданская панихида и прощание со Смоктуновским. Крестного я увидел в последний раз, лежащим в гробу, пройдя мимо него в медленно текущем потоке людей, пришедших в театр попрощаться с ним. С правой стороны от гроба сидела его семья: жена, дети – Филипп и Маша, а также моя первая жена, которая была близка с Суламифью. Я положил цветы на огромную гору цветов, заваливших гроб с телом крестного. Лицо его было, как у всех усопших, совершенно другим, незнакомым, беспощадно чуждым всем оставшимся в этой жизни, в том числе и мне. Так, на дальних дистанциях смертного отчуждения, я прошел мимо и попрощался навеки со своим крестным.

Я не посмел подойти и выразить соболезнование жене покойного, ибо с нею рядом сидела бывшая моя жена, которую я бросил и уехал за границу вместе с новой молодой женой. Зоя была близка Суламифи по тем душевным качествам, которые нравились супруге Смоктуновского, а также и по наследственным симпатиям ее родителей в отношении моей первой жены, матери моих детей, – человеку кроткому и добросердечному. Отец Суламифи, Мендель Хаимович, художник-акварелист, обожал Зою, писал ее, дружелюбно привечал, но особенной их дружбе содействовало одно печальное обстоятельство. Старый художник был давно болен туберкулезом легких, долгие годы лечился, а моя жена заболела сразу после рождения второго ребенка туберкулезом почки. И вышло так, что они, бедняги, подолгу лечились в одной и той же больнице в Сокольниках. Оба они были «ходячие больные» и в часы прогулки на свежем воздухе вместе гуляли по длинным аллеям лечебницы, оба маленькие ростом, такие разные, трогательные... И когда старый Горшман скончался, он включил в число наследников своего скромного капитала мою жену также. Причем распорядился так, что Смоктуновской ничего не досталось, ибо он счел ее богатой, большая часть досталась старшей дочери Рут, самой бедной по его мнению, а остальное поровну разделил между своим сыном Аликом (Александром) и Зоей. Причем он наказал своей жене Шире, душеприказчице, что деньги должны быть отданы строго по назначению Зое, мне же не полагалось «даже и на одну сигарету». О, я не в обиде на него, мудрого Менделя, ибо он видел, чувял уже, наверное, что когда-нибудь я брошу ее.

Смоктуновский пришел ко мне, чтобы спасти меня от губельного отчаяния после моих десяти лет безуспешной беготни по московским редакциям, в пору моего чудовищно затянувшегося дебюта. Говорю спокойно, уверенно, что я погибал тогда, но прислал мне Господь Смоктуновского навстречу. Это произошло в обстоятельствах банальной житейской будничности, – самое настоящее чудо. Как бы я мог, даже во сне, предположить, что однажды через порог моей нищенской квартиры перешагнет сам Иннокентий Смоктуновский, величайший из актёров земного шара? Один из вечных гениев человечества. Воистину он был послан мне Самим провозвестником вселенской Любви, чтобы я остался жив и служил ей.

Потому и в день возвращения глубокой осенью из деревни, где было мне, ничтожному и жалкому, дано узреть Богоявление, – Смоктуновский тем же вечером позвонил мне и предложил принять крещение. И опять он обратился ко мне, посылаемый Провидением.

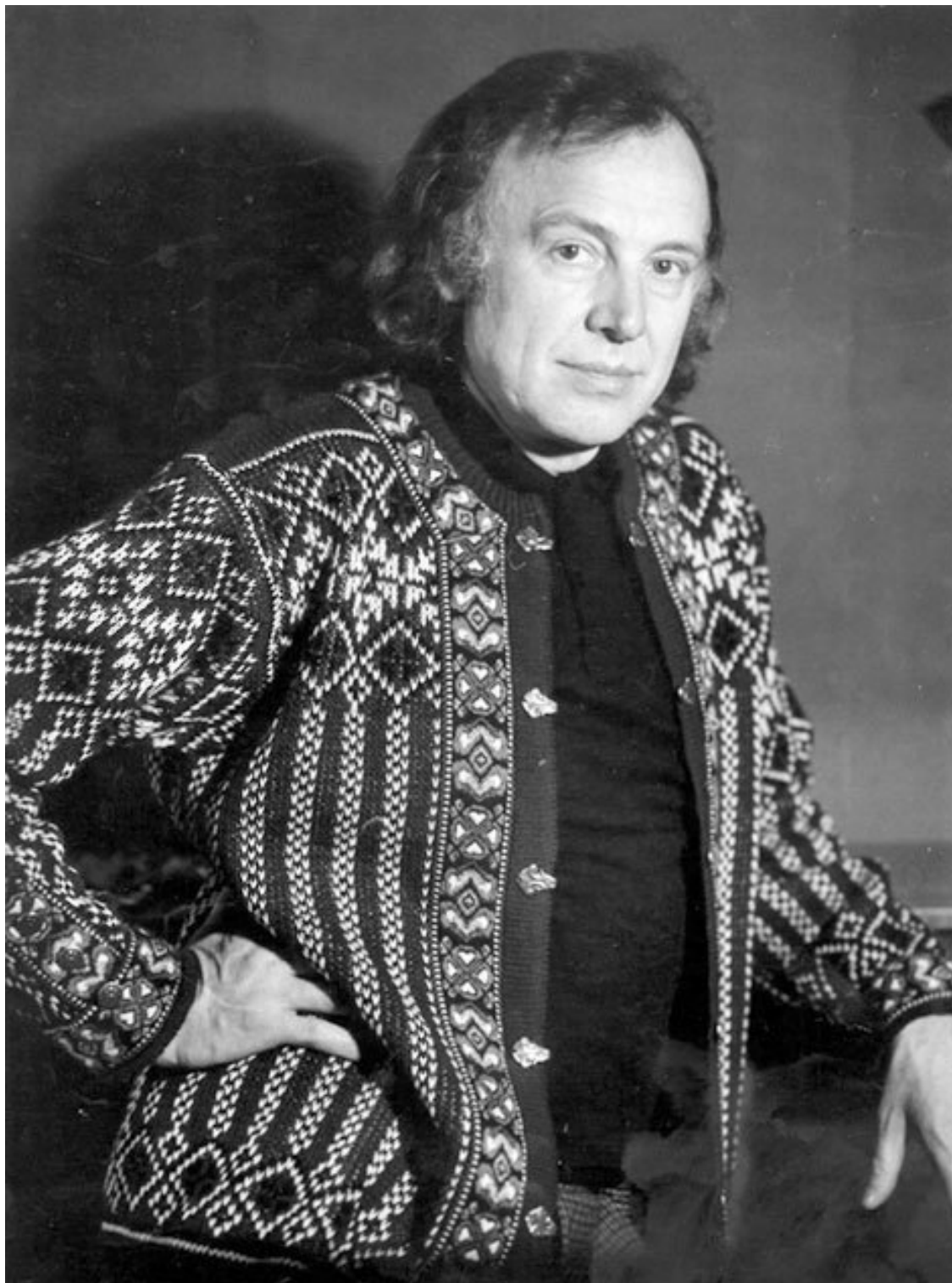
Мы были в добрых, близких отношениях больше двадцати лет, но он был так тесно окружен при жизни всякими значительными и не очень значительными, знаменитыми и не очень знаменитыми деятелями культуры и вне культуры – значительными людьми советского общества, что побывать в досталь около своего самого любимого художника мне не удавалось. Не мог и особенно быть полезен ему в его литературном деле – Смоктуновский писал замечательную прозу, воспоминания, эссеистику, все это охотно публиковали журналы. Я иногда готовил к печати некоторые его рукописи, а жена моя перепечатывала их на машинке «Оптим». Он глубоко, высоко, прекрасно чувствовал русское художественное слово, написал о Пушкине, талантливо воспроизводил в чтении его стихи, писал о Достоевском. Оставил превосходные по слогу воспоминания о своем военном прошлом, о многотрудном пути к началу восхождения к вершинам большого творчества.

После его ухода волной восторженного посмертного поклонения, которая вскинулась над его именем, меня отбросило от крестного так далеко, что я надолго потерял с ним ту истинно живую мистическую связь, которая явилась, считаю я, феноменальной в истории межчеловеческих отношений. И сейчас, когда прошло ещё двадцать лет со дня его ухода. Я хочу попытаться воссоздать, по мере своих возможностей, необычайной силы и красоты человеческий образ Артиста, подлинного Гения, высшего представителя человечества, каким был Иннокентий Михайлович Смоктуновский.

Я знаю: то, что я могу рассказать о нем, никто другой сделать не сможет. Потому что Посредник, соединивший нас священными узами крестного отца и крестного сына – был очень велик. Он Сам был небесный Гений. И мне были переданы – от отца к сыну – защита и сила Креста. Также передан волшебный дар преображения художника в своего художественного героя. И этот дар преображения помог мне как писателю создать творческий подход, – не традиционный, – ведущий крестным путем собственной духовной гибели и – к воскресению в художественном образе. И потому, я надеюсь, мне удалось написать такие книги, как романы «Белка», «Отец-лес», «Радости рая», которые останутся в хранилищах человечества после моей смерти.

Крестный когда-то спас меня в роковую минуту, за руку ввел в литературу, и примером всей своей жизни – как и бывает у подлинного отца – указывал мне путь в нашем общем артистическом деле. Он учил стремиться на этом пути только к высшему совершенству, показывал всей своей волшебной исполинской деятельностью, что гений – это и не злодейство, и не кривляние на подмостках всеобщего обозрения, а умение представить в искусстве всякую брэнную жизнь так, чтобы она осталась бессмертной. И мне бесконечно грустно жить эту жизнь без своего крестного, и не утешает меня то, что я когда-нибудь тоже уйду вслед за ним. Ибо я не верю, что мы с ним снова встретимся, – в каком-нибудь из замечательных параллельных миров, как встретились однажды в этом нашем земном зеленом и синем золотистом мире.

Вкладка





Иннокентий Михайлович с Суламифью Михайловной, 1964 г.



Иннокентий Михайлович на съемках фильма «Гамлет», прибл. 1964 г.



Шира Григорьевна и Мендл Хаимович Гориман, Иннокентий Михайлович и Суламифь Михайловна Смоктуновские с детьми Филиппом и Машей, Рута Михайловна Сычуань, 1967 г.



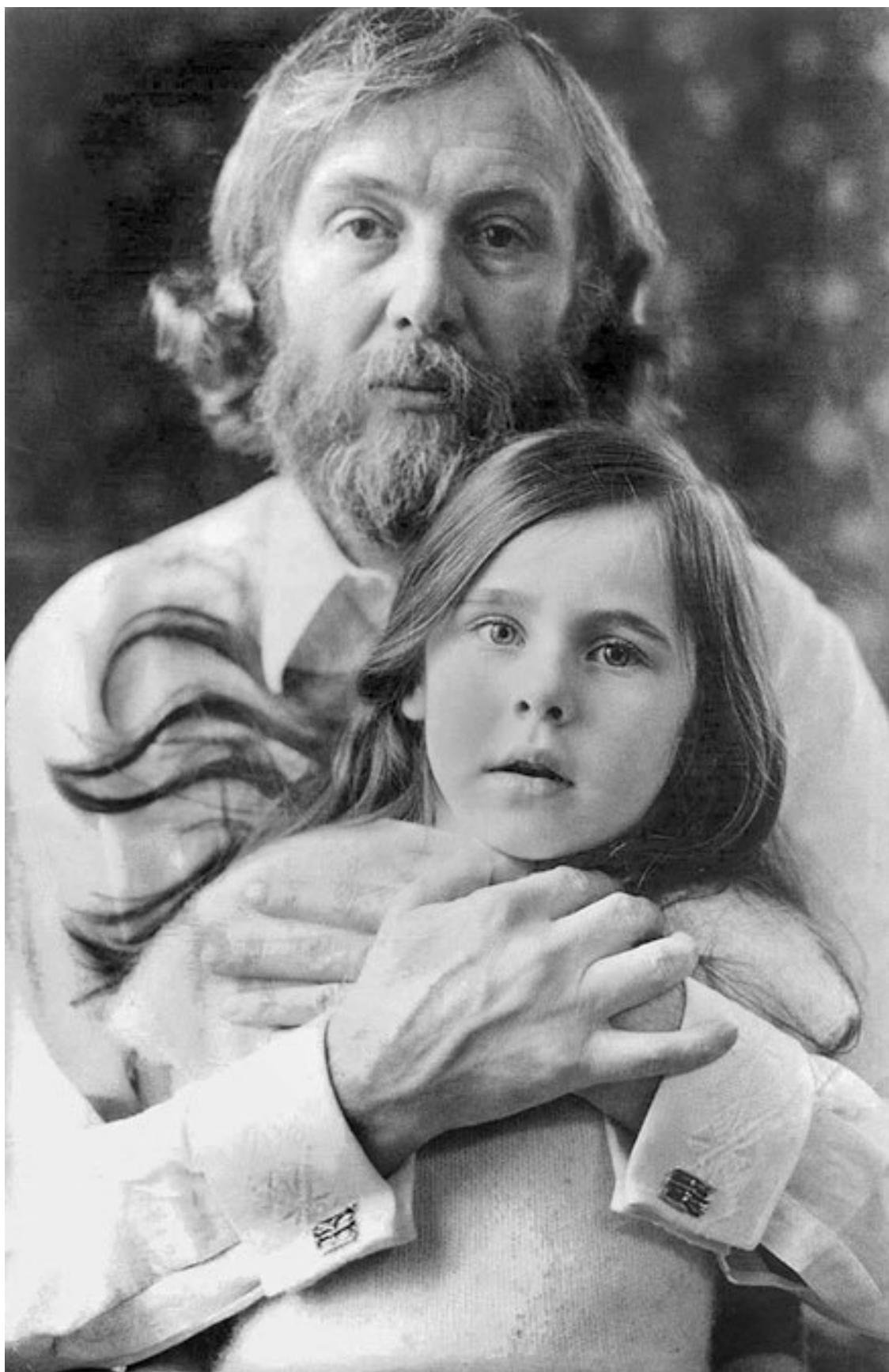
Иннокентий Михайлович и Суламифь Михайловна Смоктуновские с дочкой Машей. Поселок Горьковская под Ленинградом, 1967 г.



Дети Филипп и Маша, 1960-е г.г.



Иннокентий Михайлович с Машей, 1969 г.





Иннокентий Михайлович, Суламифь Михайловна, Шира Григорьевна, Рута Михайловна, Маша, 1975 г.



«Музыка повсюду: вокруг меня, внутри меня»



“Иванов” А.П.Чехова 1976 г.
Иванов - И.М.Смоктуновский
фото И.А.Александрова



Суламифь Михайловна и Иннокентий Михайлович в Болгарии, прибл. 1977 г.

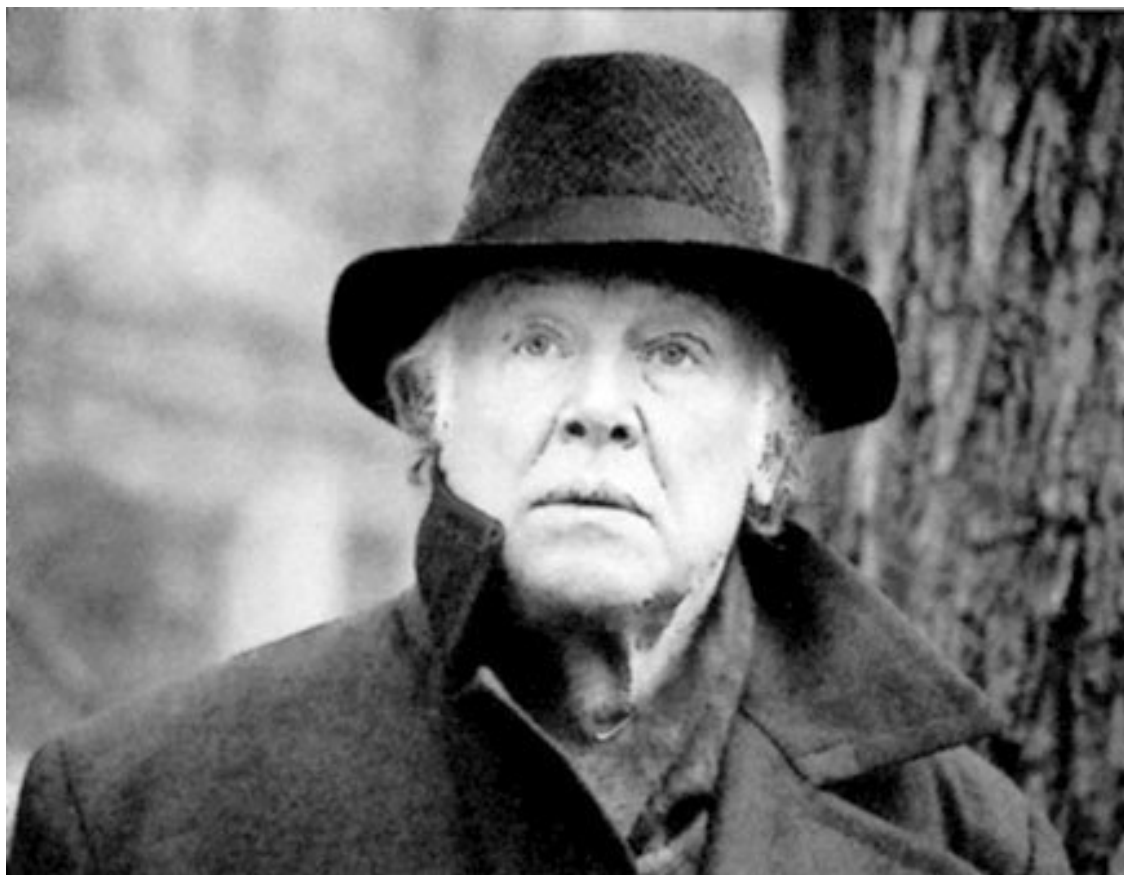




Празднование 60-летия Иннокентия Михайловича во МХАТе, 1985 г.



На встрече со зрителями, 1980-е г.г.



Иннокентий Михайлович в фильме «Белый праздник», 1994 г.



Иннокентий Михайлович с любимой собакой Жаном, 1993 г.



Мария, 2011